АЛТАЙ

1974

3

Электронная библиотека АГУНБ, elib.altlib.ru

Репродукция картины **Н. Рериха** «Белуха».

Портрет Николая Рериха работы его сына **С. Рериха**.

Электронная библиотека АКУНБ. elib.altlib.ru

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXVII **№ 3 (70) 1974**

СОДЕРЖАНИЕ

Василий КОРНИЕНКО. Зал ожидания. Повесть 3
Борис УКАЧИН. Встреча с отцом. «В сердцах алтайских женщин...». Домой хочу. Стихи 26
Николай ЛАКТИОНОВ. «Мне двадцать пять...». «Я не казню себя жестоко...». «Всякое в жизни случается...». «Юность. Тут все мы есенимся...» Стихи 28
Валерий ИЗВЕКОВ. Евдокиино счастье. Рассказ 29
Владимир УНЖАКОВ. Поле. Утро 22 июня. На отдыхе. Стихи 37
Юрий КРЫЛОВ. Корни. Рассказ 38
Эмилия ЕФИМОВА. Бабье лето. Замужняя вдова. Землячке в Германии. Стихи 42
Александр ДМИТРИЕВ. Сорок три... с тапочками. Рассказ 43
Ида ШЕВЦОВА. «Солнце красногрудое...». «Вокруг такая зелень...». «Березами белыми...». «В избушке низкой...». Стихи 45
Николай БАЙБУЗА. Пригород. «Синтетика и там и тут...». В лесу. Дом. Наша сила. Противовес. Стихи 46

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Николай ДВОРЦОВ. Суть 48
Александр ДЕМЧЕНКО. Когда цветут панты 55

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ. Лицо театра 58

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО КРАЯ

Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ. Рерих на Алтае 65

Электронная библиотека АКУНБ elibrary.altlib.ru

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Галина ПРОХОРОВА. О времени и о себе 70

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Н. Н. ЯНОВСКИЙ. Арсений Жиляков 72
Арсений ЖИЛЯКОВ. У истоков жизни 77

САТИРА И ЮМОР

Геннадий ОСИПОВ. Как я стал чемпионом. Рассказ 87

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. БОРОДКИН,
Н. ДВОРЦОВ,
И. КАЗАНЦЕВ,
Л. КВИН (зам. гл. редактора),
И. КУДИНОВ (гл. редактор),
Г. ЛИСЕНКОВ,
Ю. МАЙОРОВ,
Л. МЕРЗЛИКИН,
В. СИДОРОВ,
М. ЮДАЛЕВИЧ (зам. гл. редактора).

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1974, № 3

Художественный редактор Б. Лупачев. Технический редактор М. Сафонова. Корректоры А. Дмитриев, А. Савикова.

Рукописи не возвращаются.

АГ 00210. Сдано в набор 29 VII 1974 г. Подписано к печати 28. VIII 1974 г. Формат 84×108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,84. Тираж 7000 экз. Заказ № 2143. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Л. Толстого, 29.

Адрес редакции: Барнаул, 56, пр. Ленина, 8. Телефон 95-4-21.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.aklib.ru

Василий Корниенко родился в селе Смоленском Алтайского края в 1937 году. Детство его прошло в городе Горняке.

В. Корниенко сменил много профессий. Работал токарем, электромонтажником, мастером по ремонту электрокаров, занимался журналистикой. Сейчас преподает литературу в средней школе Горняка.

Алма-Атинское издательство «Жазуши» готовит к печати книгу повестей молодого писателя.

Василий КОРНИЕНКО

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

ПОВЕСТЬ

Поезд должен прийти далеко за полночь — перед рассветом.

Она сидит на жестком диване и думает, как это плохо, ждать. Хуже нет.

За окном быстро густеют сумерки. Стоит та тишина, которая так характерна для небольших полузабытых станций. Зал почти пуст; несколько человек спят на скамьях, сидя или лежа, а может, так просто дремлют. Лишь ее найко* не смыкает черных своих глазенок. Гугукает, сучит ножками. Ну вот, одну тряпку на пол сбросил.

Она пеленает ребёнка, тихонько смеется.

— Ах ты и дурной, найко. А и дурной же ты!.. Агу, лопотун мой, агу...

Ее голос звучит негромко и, наверно, никому не мешает. Она обводит глазами зал. Нет, тот, в берете и плаще, тот, что неподалеку сидит, поднял веки, на нее смотрит. Чего смотреть? Цыганку не видел, что ли?..

Она подавляет вздох, смотрит задумчиво на малыша. Хорошо бы сейчас взять его на руки и уйти в ночь. И чтобы сразу найти своих, сесть у таборного костра и наблюдать, как в небо вместе с дымом взлетают золотые пылинки искр.

Только разве найдешь теперь своих? Жизнь разметала цыган по городам и селам, таборы распадаются один за другим, а те, что остались, уходят глубже в леса, и люди в них становятся злыми от трудной жизни. Нет, плохо в таборе.

И вообще плохо стало бродячим. Гаджо* поумнели, не хотят, чтобы им гадали. Трудно кормиться. А если не гадать— что делать? Не идти же на работу, как оседлые, камни ворочать, или даже плясать за деньги в театрах, хотя это и легче...

А что-то надо делать. Но что?

Она задумывается крепче. От непривычки думать в мыслях возникает путаница, начинает ломить виски.

От дум ее отвлекает беспрерывное хлопанье дверей. В зал ожидания втягивается пестрая, разноликая толпа. Видно, с какого-то поезда.

В зале сразу становится шумно. Около нее сели две девушки гаджо и говорят о каких-то степных экспедициях, о залежах медно-свинцовых руд. Особенно говорила одна из них — низенькая, белокурая.

Слушать их интересно. Правда, уж очень учено они говорят, но ничего — понять можно. А и язычок же у этой низенькой! Не хуже, чем у цыганки.

Она долго их слушает. Потом ей это надоедает, и она, заметив, что найко за-

* малыш *(цыганск.)*.

* нецыган, инородец.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

снул, кладет его поудобнее и выходит на перрон.

Степь тонет в полутьме. Пристанционные тополя смутно шуршат, как большущие копны сена, а луна — будто дынная корка. Под ее слабым светом рельсы скользко блестят.

Где-то далеко, в степи, по таким же светлым полоскам скользит, бешено вертя колесами, пассажирский поезд. Люди в нем покачиваются на полках, спят или думают о том, что ждет их впереди. Им хорошо, они знают, куда и зачем едут. А она не знает даже, в какую сторону ехать. Наверно, на Бийск. А куда это: туда или — туда?..

Она идет назад, рывком распахивает дверь. На людях легче ждать.

Некоторые из тех, что спали, уже стоят у окошечка кассы. Там, где разместились студенты, то и дело звучит смех. Гаджо в берете и своем тонком, как бумага, зеленоватом плаще ходит по проходу между диванами, о чем-то думает.

Найко спит. Его разморило во сне: даже сквозь смуглоту щек проступает румянец. Она садится в ногах малыша, любуется им и думает.

К ее дивану подходят девушки. Смеются, просят погадать. Скучно им, поезд-то ждать долго. Она с улыбкой берет руку маленькой девушки с большими карими глазами. Раньше, когда девушка разговаривала с подружкой, в них так и закипало озорство, а сейчас они смотрят как-то смущенно-доверчиво. «Красивая и о любви уже думает, — отмечает она.— А упрямства хоть отбавляй — вон как губы складывает. Наверно, еще упрямей меня». Она начинает разглядывать линии на белой ладони.

— То, о чем часто думаешь, золотая,— в жизни будет. — Голос ее сейчас звучит приятно, она знает это. — Быть-то будет, да не так, как в мечтах держишь. Там, где хочешь найти, — потеряешь, где потерять боишься — найдешь. Позолоти ручку, серебряная, дальше всю правду скажу.

Торопливо звякают монеты. Гаджо в берете кривит губы и шагает быстрее.

— ...нежным словам его не верь, ласковая. Мужчина — перекати-поле: зацепился — остановился, дунул ветер — покатился дальше... Правду говорю.

Подсела другая девушка. Звякают, падая в ладони, монеты.

Тот, в берете, опять ходит и ходит мимо. Она, выжидая, смотрит на него. Может, он хочет, чтобы она погадала и ему? Он тоже поглядывает на нее. Что ж, пусть смотрит. Это у старых цыганок усталые помятые лица. А ее лицом любуются не только цыгане и не только мужчины. Она знает, что она красива. Она видит в его голубовато-водянистых глазах всю себя — с угольно-жгучими глазами, с золотой смуглостью щек.

Гаджо отводит глаза, идет мимо.

— Когда их только переловят?.. — брезгливо и на ходу говорит он кому-то. — Люди горб гнут, а этим — не жизнь, а малина.

Ей охота вскочить и ответить ему, сказать что-то такое, возразить, но она сдерживает себя и с презрением отворачивает лицо от его широкой спины.

— Это как сказать... — глухо говорит какому-то пареньку пожилой мужчина с лицом, иссеченным морщинами. — Может, кого от такой малины враз в дугу бы согнуло. А цыгане сейчас и честные есть. Работают, как все.

— А-а, — вступает в разговор еще один гаджо, в грязно-серой, сетчатой шляпе. — Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Я вот знал одного цыгана...

Они думают, что ей не слышно, но она и не слушает. Что слушать? Она знает, о чем они будут говорить. Нехорошо говорят. Кроме одного, конечно, того, что весь в морщинах. «Усталое лицо у этого гаджо, а глаза молодые, — отмечает она. — Славный, видно, человек. И о цыганах говорит, как о людях...»

Разве цыгане виноваты в том, что больше всего на свете любят волю? Правда, оседлые теперь твердят, что лучшей жизни им и не надо. Да так ли это? Воли ведь — нет. Работу не бросишь, пока часы не пробьют.

Зато — живут сытно и чисто. Что воля, если есть нечего?..

Так что же — лучше?

Она совсем сбита с толку. Что же ей делать? Ее табор распался, многие люди ушли в города и живут там спокойной жизнью гаджо. Может, и ей пойти?.. А воля, цыганская воля?..

Конечно, несладко бывает порой и в таборе. Но бывает и хорошо. Вольная волюшка. Синее небо над головой вместо крыши, зеленая степь — вместо постели. Что может быть лучше? Плохо только, когда дожди и снег. Тогда даже в кибит-

ке неуютно. Зато летом — рай. Степь и степь, нет ей ни края, ни конца. Или — река, а у ее излучины — легкие шатры. Дым костра. До чего хорошо бывало сидеть девчонкой у ночного костра и слушать то, что рассказывали старики. Особенно то, что рассказывал старый Мусай.

Она прикрывает глаза и видит себя совсем маленькой — едва видно от земли. Вот она, эта Мими, — маленькая смешная и бойкая на язык цыганочка. Она бредет за матерью по шумному залу ожидания одного из молдаванских городов, а потом — по залам ожиданий многих городов, что лежат по левому берегу очень длинной и широкой русской реки Волги. Больше всего она помнит себя на вокзалах. Она и родилась-то на одном из захолустных вокзалов в грязном зале ожидания. Так уж случилось. Падоро, как все мужчины, заставлял мать гадать и попрошайничать до последнего дня. Тем более, что Мими появилась на свет как раз в голодные годы после войны.

Мать... Какая она была? Как все — простая цыганка. Всю жизнь она провела на базарах и площадях городов. Она носила с собой колоду залоснившихся, обтрепанных по краям игральных карт и ворожила людям, а при случае и крала что-нибудь. Она говорила, что богатые гаджо от этого не обеднеют. И всюду мать брала с собой дочь.

Маленькую ее она носила за спиной, привязав к себе покрепче пестрым теплым полушалком. А когда Мими подросла и стала ходить, мать перестала ее брать на руки, и приходилось бегать за ней, как собачонке, шлепая по пыльным проселкам босыми, исцарапанными ногами. И бывало, как ни отставай, как ни хнычь, мать не обратит на это никакого внимания. Потом стало легче. Мими подросла и уже умела петь коротенькие песенки, а в пляске — выкидывать разные коленца. Сама стала свой хлеб зарабатывать.

Да, что ни говори, а трудное было время. Голод. Разруха. Много беды принесла война. И не только цыганам — всем.

Они часто бывали на перронах, встречали и провожали поезда, терлись около пассажиров, которые были голодны не менее их. За день она уставала не меньше матери и радовалась, когда они, наконец, отправлялись домой, в табор.

Они приходили туда обычно под вечер. В сумерках все предметы казались размытыми: и возы, и шатры, и даже лица цыган. А табор жил своей обычной жизнью. В центре его, на твердом, как камень, земляном пятачке пылал костер. В глазах матери трепетали отблески пламени, и их хотелось поймать рукой, но это, конечно, никогда не удавалось. Да и мать с досадой отмахивалась от нее. Вообще маленькая Мими любила шалить. Она хорошо помнит, как однажды обкусала края деревянной ложки. Эту ложку ей еще пуро* Мусай подарил. Он сам их делал и раскрашивал коричневой, с золотом краской. На ее ложке были очень красивые райские птицы. Ох и попало ей от матери за эту ложку! Хорошо, пуро Мусай взял ее под защиту. Любил он ее, и она его любила. Особенно весело было с ним в тот миг, когда он у костра раскуривал трубку и говорил:

— Нэ, ашунес**.

И начинал медленное повествование о том, что было давным-давно, в те времена, которые никто не помнит.

— Ту... — шепотом просила Мими. — Про то, как цыгане были птицами.

Пуро Мусай выдыхал дым, заглядывал в трубку.

— Прежде цыгане были птицами, а из птиц превратились в цыган, — в который раз начинал он свою повесть. И не спеша вводил ее в волшебный мир сказки.

А все случилось вот как.

Однажды стая птиц, то есть цыган, что были пока еще птицами, долго летела над бескрайней степью. Стая была голодна, но внизу лежала мертвая пустая земля. Наконец там зажелтели плодородные нивы. Стая опустилась, и началась привольная жизнь. Тяжелые зерна пшеницы были ежедневным лакомством. Очень хорошая пошла жизнь. Птицы клевали и клевали зерна и стали жиреть. И ожирели так, что при всем желании стая уже не могла бы взлететь. Но такого желания и не было. Привыкли птицы к сытой жизни и ни о чем не думали. А вскоре разучились даже скакать и двигались вперевалку.

Только недолго длилась такая жизнь. Осень опустошила поля, и пришлось людям, то есть птицам, запасать себе корм и делать жилища. Трудились они так, что стали их ноги толстыми и крепкими, а крылья ослабли и превратились в руки.

---

* старый.
** Ну, слушай.

И распрощались цыгане с синими высями.

Но все же остался в них дух перелетных птиц. Небольшими группами кочуют они по всему миру в поисках вольной жизни. И верят, что настанет день, когда они снова станут свободными птицами и будут у них крылья...

Она очень любила эту сказку. Тысячу раз не уставала слушать. И мечтала и сама стать птицей. Хорошо бы, думала она, взлететь в синюю высь и лететь над землей, смотреть на утопающие в зелени города и села, на светлые озера и реки и побывать в заморских странах, а там — добыть волшебный ангрусти*, который приносит людям счастье... Она смотрела, как в лиловой золе костра потухали красные искры — «драконьи глаза», — и не слышала никогда, как мать называла ее имя. Лишь звонкий шлепок по затылку возвращал ее к действительности...

Она открывает глаза и смотрит в окно. Оттуда, с улицы, к стеклам смутной тенью припала ночь. Пассажиры все говорят о цыганах. Теперь до утра проговорят. Ну и пусть, жалко, что ли?

Она и слышит и не слышит их голоса. Мысли ее не здесь, а там — в далеком теперь детстве. Было оно или его не было? Это не она, а похожая на нее девчонка Мими жила тогда. И не она, а та, маленькая, другая Мими, замурзанная, в черном платьице, дралась в таборе с такими же сорванцами, шлепала босыми ногами по весенним лужам. И не плакала, а наоборот, хохотала, когда, поскользнувшись, падала в грязь. Она, та, другая Мими, не смеялась только тогда, когда дадоро бил мать. А однажды мать чуть не убила дадоро...

Как это было?.. Это хорошо врезалось в память и прошло перед ее глазами, как будто было вчера. Только она смотрела со стороны.

Однажды, когда мать возвратилась из города, дадоро вошел в шатер с ременным недоуздком в руке и потребовал денег на вино.

— Ах, Иисус... — вздохнула мать. — Ничего у меня нет.

— Давай сколько есть, — нахмурил лохматые брови дадоро.

— Я же говорю тебе, нет ничего.

— Врешь, проклятая баба! — глаза у него стали наливаться гневом. — Почему другие жены носят мужьям деньги почаще?

— Сам ты врешь! — оскорбилась мать. — Рубли не растут на деревьях, как листья! А еще лучше б было, если бы на кустах росли кошельки!

Это был уже вызов. Дадоро сдвинул плотнее брови. Взгляд из-под них блеснул грозно и остро, как нож. Недоуздок со свистом рассек воздух.

— Ты еще насмехаться, кобыла некованая! — цедил дадоро сквозь зубы, хлеща между тем жену по лицу, по плечам, по рукам, которыми она прикрывалась.— На! на! на!.. Это тебе за язык твой!.. А деньги я все равно найду!

Он оставил мать и стал расшвыривать вещи.

Мими наблюдала за ним, припав к стене шатра спиной. Он подошел к ней и, не глядя ей в лицо, ощупал ее платье и выдернул из-под ног дерюжку. И снова подступил к сидящей на чурбаке матери.

— Где деньги?

Взметнулся вверх недоуздок.

Дальше вышло нечто ужасное. Мать, не помня себя, схватила чугунный пестик от ступки, в которой иногда размалывали зерна или соль, и ударила им мужа по голове. Тот, даже не охнув, свалился на пол.

— Коройовав!* — воскликнула мать.— Что я наделала!

Она опустилась перед мужем на корточки и ощупала его голову. Наверно, ее руки стали липкими. Тогда она уложила его поудобнее и стала промывать рану. Мими подошла ближе. Мать не замечала ее, вытирала бледное лицо дадоро полотенцем и часто целовала в полуоткрытые губы.

Наконец он открыл глаза и вздохнул. Взгляды встретились. Мать радостно вздрогнула и исступленно припала к его груди. Дадоро слабо погладил ее черные густые волосы. Он по-своему, в общем-то, любил ее.

Мими вышла из шатра и долго смотрела, как над табором догорала заря. Ее малиновые отблески ложились на верхушки шатров, и весь табор, казалось, был охвачен пожаром. Мими подумала, что ее волосы, наверно, тоже горят вот так же холодно и малиново, и засмеялась своей догадке.

Да, Мими часто смеялась тогда, даже

* перстень.

* Ослепнуть мне!

так, без причин. Это была лучшая пора ее жизни.

Она сгоняет горькую улыбку с лица и замечает, что без конца теребит левой рукой низку крупных и красных, как черешня, бус, свисающую с ее шеи на грудь. Она убирает руку. Мужчина с морщинистым лицом смотрит на нее, мнет в пальцах папиросу. Видно, очень хочет курить.

— Кури здесь, — предлагает она.

— Нет, — отказывается он. — Ему вредно будет.

Он указывает на спящего найко и сует папиросу в карман пиджака. Потом, сцепив руки на колене, смотрит задумчиво куда-то вниз, на ее ноги в кожаных башмачках. Башмачки были когда-то коричневые, а сейчас их буроватая кожа вся словно в лишаях. Старые башмачки, выбросить пора. Она медленно поджимает ноги под диван.

В детстве Мими никогда не носила обуви. Кожа на ее ногах, черных от загара, огрубевала и делалась такой толстой и жесткой, что никакие колючки были ей не страшны. И все же это не значит, что ей не хотелось носить башмачки. И когда один раз на базаре она увидела на прилавке пару крепких коричневых башмачков, кожа которых зеркально поблескивала, она не могла отвести от них глаз. И незаметно взяла их. А что было делать? Не она первая, не она последняя. Кто бы стал брать, если бы это у тебя было? Дети гаджо еще и ходить не умеют, а уже в башмачках. Вот и у оседлых цыган теперь так. Она сама видела. Хотя бы тот же Марци.

Да, Марци... Интересно они встретились. Давно было, а как будто сейчас. Будто только что она шла по берегу реки. Нет, это шла не она, а та девчонка Мими — та, что так похожа на нее.

Мими шла по берегу, срывала беловатые шарики одуванчиков и дула на них. Крошечные парашютики, неся черную пылинку семени, разлетались во все стороны. В размытом зноем небе, как желток, плавало большое солнце. Оно с каждым днем светило все сильнее, и на него теперь можно было смотреть только прикрыв веки. Мими так и делала. И тогда даже в открытых глазах тяжело колыхались красные шары. И вдруг она чуть не упала. Она повернула голову и увидела цыганенка из их табора. Это он подставил ногу. Звать его было Суска, и это был один из самых озорных мальчишек в таборе.

— Чего ты? — насупилась она.

— А так, — ухмыльнулся Суска. — А ты не иди как слепая.

— Не твое дело.

— Подумаешь! — Он не долго думая дал ей затрещину.

Она вскрикнула.

— Эй ты, не трогай девчонку!

Голос шел от большого белого камня, что лежал почти у самой воды. Мими взглянула туда и увидела на выступе камня незнакомого мальчика примерно ее возраста. Тот сидел с удочкой в руке; рядом стояла стеклянная банка, в которой узко и серебряно поблескивали две-три рыбешки. Незнакомец был тоже из цыган, и в то же время в нем было что-то чужое. Во-первых, эта белая, как соль, рубашка и крепкие сандалеты на толстой подошве, во-вторых — непонятная красная повязка на шее.

Он оставил удилище на камне и подошел к ребятам. И выражение лица у него было совсем не цыганское. Он смотрел не настороженно-замкнуто, а смело и открыто, как смотрят гаджо. Суска был так озадачен его видом, что отошел немного в сторону.

— Вы из бродячих? — спросил незнакомец, осматривая Мими. — Да? А я — из оседлых. Вон за той сопкой мое село.

Мими не знала, что ответить ему. Она почему-то вдруг оробела. Хотела побежать к Суске, а ноги не слушались.

— Мы вот здесь... наш табор там...

— А, понятно, — сказал, как взрослый, незнакомый мальчик и тронул ее за руку. — Хочешь рыбу половить?

— Н-не знаю... — запиналась она. — Пусть и Суска тоже.

— Пусть. Я разве против? Эй, пойдем рыбу ловить!

Суска только диковато посмотрел на него.

Незнакомец дал Мими удочку и присел на камне. Солнечные блики, отражаясь от воды, пробегали по его лицу.

— Тебя как звать? — спросил он.

— Мими.

— А меня...

— ...а звать его было Чунко, что ли. Вроде бы так...

Она вздрагивает. Откуда это имя? Ах, да, это гаджо в сетчатой шляпе произнес его. Вот как она забылась.

— ...это было так звать того цыганен-

ка, что сумел открыть замок, — звучит в ее ушах голос гаджо. — Милиции потом сказал.

«Нет, гаджо, его было звать Марци,— думает она о своем. — Это такое красивое имя — Марци! Марци...»

Гаджо мельком смотрит на часы, и его лицо выражает удивление. Наверно, очень мало прошло времени. А ей тоже казалось, что оно идет со скоростью бури. Такое же ощущение было как-то у нее лет пять назад, когда она с Марци спряталась от дождя под маленьким железнодорожным мостом, а наверху как раз шел пассажирский. Бетон моста напряженно гудел; колеса четко постукивали на стыках рельс. Казалось, не будет конца этому оглушающему грохоту.

Она жалась к Марци и чувствовала, как сильно стучит его сердце. А потом грохот словно бы оборвался.

Она вздыхает и печально смотрит на сына. Тот безмятежно спит, упираясь головой в перекладину жесткого дивана.

— ...ну, открывает он, значит, задвижку... — врывается в ее уши голос гаджо. Она качает головой. Какая там задвижка!.. Нет, Мими сидела на камне и смотрела на поплавок.

Поплавок сонно покачивало на воде в едва заметной ряби, а почти рядом с ним бился об воду крылышками белый мотылек. Крылышки у него подмокли, и он не мог никак взлететь.

— А почему ты такой? — осмелела Мими.

— Какой? — спросил Марци.

— Ну такой... оседлый?

— А-а... Это потому, что мы ушли из табора, и мой дадоро стал работать в колхозе.

— И шатер у вас там?

— Нам дали дом. И другим цыганам тоже.

— Значит, вы теперь живете, как гаджо?

— Ага. Дадоро говорит, что мы теперь как люди.

Мими помолчала. Мотылек все же оторвался от воды и полетел вдоль реки, наверно туда, где светлым квадратом желтело хлебное поле. За полем зубчато синел сосновый лес. Мотылек летел очень неровно и то взмывал вверх, то припадал к воде. Скоро он пропал за поворотом реки. И тут поплавок резко и косо ушел в воду. Мими подсекла больше с перепугу. В сухую траву у камня, влажно блеснув, упала рыбешка.

— Вот это да! — закричал Марци. — Ловко ты ее!

Ей стало хорошо от его похвалы, и она захохотала.

Он снял с крючка рыбешку и показал ей. Это был чебачок — узенькая рыбка с четкой золотисто-зеленоватой полоской вдоль спины. Они полюбовались ею и опустили в банку. Снова сонно замер на воде поплавок.

— А зачем у тебя на шее красный платок? — спросила Мими.

— Какой платок? А-а... Так это же пионерский галстук!

— А зачем?

— Чтобы было видно, кто пионер, а кто — так себе. И еще — чтобы отдавать салют. За дело Ленина будь готов! Всегда готов!

— А кто такой Ленин? — лукаво прищурилась она.

Он даже оторопел.

— Ты Ленина не знаешь?..

— А ты — знаешь? — она смотрела на него, склонив голову набок.

— Я-то знаю. Он — великий гений.

— А вот и нет.

— А кто же он, по-твоему?

Она оживилась.

— Ленин — русский вайда*, вот кто. Это он добыл для людей волшебный ангрусти. Мне рассказал один взрослый чаво**, который жил в Москве.

— Ничего он не добывал, а разбил буржуев.

— А вот и добывал! — оскорбленно воскликнула она. — Тот чаво не стал бы врать!

— Ну расскажи, как это было?

Она замешкалась, не зная, с чего начать. Она любила слушать, сама же никогда не рассказывала.

— Ну, рассказывай.

— Нэ, ашунес, — сказала Мими. И почти слово в слово пересказала цыганскую легенду о русском вайде, который добыл для людей ангрусти, приносящий счастье.

Создали этот перстень лучшие мастера земли. И жили люди, как братья. Только недолго так было. Забылись люди в счастье, и завладели чудесным перстнем те, в ком жили злые духи. Стали люди

---

* вождь.

* парень.

прятать друг от друга одежду и пищу, и каждый думал теперь лишь о себе. И не стало нигде правды.

Ропот по всему миру прошел. Люди не для того появились на зеленой земле, чтобы жить, как животные. И стали они думать, как добыть обратно ангрусти. А добыть его мог лишь тот, кто прочитает правильно золотую книгу, где все написано, как жить людям.

И прошло много лет. Немало находилось на земле умных людей, а никто не мог прочитать золотую книгу правильно.

Тогда-то и появился русский вайда. Прочитал он книгу правильно и добыл для людей ангрусти. Трудно было это сделать — ангрусти лежал за семью дверями, за семью замками. Но помог ему во всем цыган. Выковал он вайде нужный ключ.

И вот вайда вошел в подземелье, где был волшебный перстень. Идет по лестнице вниз, а запоры с дверей сами падают. Упало семь запоров, и открылось семь дверей, и увидел вайда то, что искал.

Ангрусти перед ним сиял, как солнце. А сделан он из драгоценного камня топаза. И у него несколько граней, и каждая грань — своего цвета. Повернешь камень желтой гранью — на земле в бесплодных тундрах начинают расти и наливаться хлеба, установишь синюю — и в пустынях синие реки текут. Повернешь черной гранью — не будет правды на земле, установишь зеленую — зацветет весь мир, а люди будут так близки к счастью, что им нужно только суметь его взять. А был ангрусти повернут черной гранью вверх. Вайда увидел это и установил зеленую грань.

И сейчас ангрусти так и лежит там, повернутый вверх зеленой гранью. А когда вайда умер, ему воздвигли мавзолей, как раз над входом в подземелье. И даже мертвый он стережет счастье людей.

Да, она и сейчас хорошо помнит сказку. Слово в слово. Когда Пецо подрастет, надо рассказать ему ее. Обязательно.

Марци понравилась легенда.

— А что, если ты перескажешь это на сборе нашего отряда? — пришла ему в голову мысль. — Я договорюсь с вожатым.

Мими не знала, что такое «сбор отряда» и «вожатый», и согласилась — ее жгло любопытство. Они решили сейчас же пойти в школу.

Он смотал удочку и взял банку с рыбой. Подумал и опрокинул банку над рекой.

— Мало. Засмеют в селе. — Он спрятал банку в траве. — Завтра больше наловлю.

Он позвал и Суску. Тот, присев на травянистую кочку, бросал в воду камешки и делал вид, что весь поглощен этим.

— Плевать я хотел, — сказал он, не повернув головы.

Тропинка шла вдоль реки, повторяя все ее изгибы, а потом круто свернула в сопки. Горизонт стал отступать, и вот с вершины открылся вид на село. Оно полукольцом лежало у подножия одной из полого взбегающих сопок, и черепичные крыши коричневыми плотиками плавали в затопившей его зелени.

— Вон и школа, — показал Марци. — Бежим вниз!

Уже на бегу он взял Мими за руку. Ветер отбрасывал волосы и платье назад, частило сердце. А ноги спешили сами по себе, и Мими мгновениями казалось, что они и не касаются земли и она вот-вот полетит, как птица.

Школа встретила гулкой тишиной коридоров.

— Как раз урок, — пояснил Марци.— Вторая смена. Ты побудь здесь, я поищу вожатого.

Мими медленно пошла вдоль стены и остановилась около одной из дверей, выкрашенной под цвет темного дуба. Посередине висела застекленная табличка с одной цифрой и одной буквой, но Мими не знала, что они означают. За дверью звучал чей-то голос. Она приоткрыла створку и увидела худенькую женщину с пышными, цвета спелой пшеницы волосами. Женщина гаджо держала в одной руке круглую палочку, водила ею по какой-то висящей на стене голубовато-цветастой бумаге в сетке черных линий и что-то говорила. Неподалеку стоял стол, и на нем, на черной подставке, был какой-то шар, тоже голубовато-цветастый и тоже в сетке черных линий. Мими прислушалась.

— ...и в туманной дали моря, на горизонте, показалась полоска неизвестной европейцам земли. Это и была Америка. Вот она на карте. — Женщина обвела палочкой отдельное разноцветное пятно на бумаге. — А вот на глобусе. — Она подошла к шару. И, повернув его, показала на нем такое же пятно.

Мими было так интересно, что она пропустила мимо ушей звуки звонка. Ей хотелось поближе рассмотреть глобус, потрогать его рукой.

— Дежурный, отнесите глобус и карту на место, — сказала женщина и быстро пошла к двери. Мими едва успела отойти в сторону.

— Девочка, тебе что? — увидела ее женщина гаджо.

Мими смотрела на свои ноги, черные от грязи.

— Ты пришла к кому-нибудь?

Мими стала кусать ногти рук.

Женщина покачала головой и ушла.

Из двери вышел мальчик, неся в одной руке свернутую трубочкой карту, а к груди прижимая глобус. Мими пошла за ним.

— Лешка! — позвал мальчишеский голос из-за боковой двери. — Иди-ка сюда, что покажу!

Мальчик с глобусом круто изменил направление и вошел в ту комнату, откуда его позвали. Мими остановилась у порога. В комнате было тесно от всяких клеток с живыми птицами, ежами и змеями. Пахло, как в зоопарке. В углу стояла большая клетка, и около нее замер в восхищении мальчишка, коротко остриженный, отчего его голова напоминала черный одуванчик. Он-то и позвал этого самого Лешку.

— Во! — сказал стриженый. — Видал?

Они загородили клетку, и Мими подошла поближе. По клетке беспокойно бегал рыжевато-серый зверек. У него были большие уши и пышный хвост, темно-бурый на конце.

— Видал? — повторил стриженый. — Во лисица!

— А это совсем и не лиса, — сказала Мими.

Стриженый на нее едва взглянул. А Лешка смерил ее взглядом.

— Много ты понимаешь, — сказал он не совсем уверенно. — Юрка юннат, а ты кто?

— Лешка, не связывайся с девчонками, — сказал стриженый.

Его голос звучал очень уверенно и спокойно, и это задело Мими.

— У лисы уши меньше, — сказала она. — И ноги короче.

— Ха-а! — засмеялся юннат. — Будто она видела лис!

— Это ты не видел! — вспыхнула Мими.

Лешка разглядывал зверька.

— А может, и правда это не лиса? — заколебался он. — А, Юрка?

— А кто же это? — стал раздражаться юннат. — Пусть она скажет, если такая умная!

— Корсак, вот кто! — выкрикнула Мими.

— Что?!

— Корсак, вот что!

— Хм... — юннат опустил глаза. И тут же их поднял. — Ха, уморила! А корсак — это разновидность лис! Поняла? — И, ликуя, дернул Лешку за рукав. — Корсак — это же разновидность лис!

— Да? — сказал Лешка с сожалением.

Мими не знала, что такое «разновидность», и сказала:

— Не знаю.

— Да что она знает? — махнул рукой юннат. — Спроси, сколько дважды два, и то не скажет! Вот спроси. Вот сколько дважды два?

Мими похолодела. Она повернулась к стене, чтобы не заплакать от бессильной злости. И опять увидела свернутую трубочкой карту и голубой глобус. Вот и что такое Америка, она толком не знает, знает только, что эта земля была неизвестна европейцам, — а кто они, эти европейцы?..

Она не утерпела и прикоснулась к глобусу рукой. Он был гладкий, как трубка пуро Мусая, и холодный.

В комнату вошло несколько мальчишек.

— Что вы тут кричите? Аж в коридоре слышно, — сказал один из них, самый высокий и со строго сдвинутыми черными бровями.

— Вот она говорит, что это корсак, а не лиса, — объяснил Лешка.

— Ну и что?

— А сама не знает, что корсак — разновидность лис, — поспешил вставить юннат.

— От этого он не перестал быть корсаком, — свел брови еще строже высокий. Мими с улыбкой повернулась к нему.

— Я ему говорю, а он...

— А, цыганочка! — улыбнулся тот. — Ты не сестра Марци?

— Нет, — сказала Мими.

— Эх, вот пляшет, чертяка! — прищелкнул пальцами чернобровый.

Она обрадовалась.

— А я тоже умею.

Электронная библиотека СССР, sovlib.ru

— А ну-ка, спляши, — предложил он.

— Она дважды два не знает, не то что сплясать, — уныло пробормотал юннат.

— Не слушай мямлю, — сказал чернобровый. — А ну: ти-татата-ти-татата, ти-татата-ти-татата...

Мими хотелось сплясать, и было как-то неловко. Она потом только сообразила, что руки ее уперлись в бока, а ноги пошли, подчиняясь ритму «цыганочки». А мальчишки прихлопывали в ладоши, учащая ритм пляски. Руки и ноги у Мими стали двигаться быстрее; она стала входить во вкус. Волосы рассыпались, наползли на глаза. И тут она увидела в дверях женщину гаджо с волосами цвета пшеницы. Мими захотелось сделать ей приятное, и она стала выкидывать те коленца, которым обычно смеялись люди, когда она плясала на базарах. Этой пляске ее научила мать. Мими не знала, что это была нехорошая пляска, и старалась вовсю и не понимала, почему лицо женщины гаджо делалось все строже. И вдруг оно залилось густым румянцем.

Кто-то сильно дернул Мими за руку, и она сбилась с ритма. Она увидела Марци и улыбнулась ему. Он отвел глаза, и она сразу почувствовала, что ему почему-то стыдно за нее. Словно опомнившись, она дернула плечом и выбежала в коридор. Марци вышел за ней. Весело зазвенел звонок.

Она стояла у старого пианино, лицом в угол. Марци сказал:

— А я тебя по всей школе искал.

Она молчала.

— Не нашел я вожатого.

Она все молчала, переживая обиду.

— Приходи через три дня, а?

Она думала, надо ли еще молчать.

— Слушай, — тронул он ее. — Хочешь посмотреть на картине русского вайду?

Она повернула голову. Из багетовой рамки, выкрашенной бронзовым порошком, на нее смотрел, слегка щурясь, большелобый человек с бородкой. Он смотрел умно и ласково, совсем как пуро Мусай, и Мими невольно улыбнулась. Она представляла русского вайду совсем не таким, но такой он ей нравился больше.

Марци взял ее за руку.

— Придешь, а?

— Зачем?

— Так...

Она кивнула, все еще улыбаясь.

Она чувствует, что и сейчас у нее на губах улыбка, и наклоняет голову, чтобы овладеть собой. А когда решает, что это ей удалось и вскидывает глаза на окружающих, то и на лицах некоторых из них замечает след улыбок. Она прислушивается. Гаджо в сетчатой шляпе рассказывает что-то смешное, что-то о том, как одна цыганка гадала его соседке. Послушать бы, но это — не в ее власти. Воспоминания захватили ее. Она словно бы смотрит кино, в котором показывают жизнь цыганочки, так похожей на нее, Мими.

Через два дня табор Мими перекочевал на сорок верст на восход. Мими все время выглядывала из кибитки, чтобы запомнить дорогу. Сквозь рваный тент видно было ночное небо. Над самой головой высоко и спокойно мерцала большая голубая звезда. Мими думала: может, и Марци любуется ледяным блеском звезды?.. А на следующий день табор опять был на колесах и лишь через три месяца снова подошел к знакомым как будто местам.

Мими тут же ушла из табора и направилась к синеющим вдали сопкам. Казалось, до них рукой подать, а она шла и шла, и они словно отодвигались. Травы уже пожухли и кололи босые ноги.

Вскоре на землю легла огромной медвежьей шкурой тень от тучи. Она расползалась шире и шире; степь потемнела. Стало трудно дышать; в небе ворочались, сцеплялись, шевелились тучи. Потом блеснуло, и земля дрогнула от глухого удара грома. Мими побежала.

Первые капли дождя стеклянными шариками посыпались на землю. Они разбивались, поднимая фонтанчики пыли. По листьям растений забарабанило часто и тревожно, и хлынул ливень.

И вдруг гром ударил с такой силой, что, казалось, небо раскололось пополам. Мими в ужасе крестилась на бегу. Она бежала куда глаза глядят. Платье плотно липло к телу.

Приземистые избы какой-то деревеньки она издали приняла за намокшие стога. Крыши многих изб были покрыты темным камышом. Мими добежала до первой избы и стала, тяжело дыша, у стены.

Хлопнула дверь; на улицу вышла женщина в мужских сапогах и в старом ватнике, накинутом на полные плечи.

— Что ты там стала, — сказала она.— Иди сюда.

Мими поглядела на нее исподлобья.

— Да не бойся, дурочка, — сказала ласково женщина. — Иди.

Мими не двигалась. Тогда женщина подошла сама, прикрыла одной полой ватника ее плечи и повела в избу.

Там было полутемно и тихо. Пахло кислым; в широком зеве русской печи чадил мокрый кизяк. Почти у порога женщина ловко сняла с Мими платье и повесила на веревочку у печной трубы. Мими сопротивлялась, прикрывала зачатки груди худыми руками.

— Ах ты, голь перекатная, — говорила женщина, оглядывая Мими, словно свою дочь. — Ничего-то на тебе нет. Как есть в одном платьишке. Куда мать-то твоя только смотрит?

Руки ее между тем заворачивали девочку в старую шерстяную кофту. Она усадила Мими за стол, налила в алюминиевую кружку густого свежего молока. С полки настенного шкафа достала кругляш белой лепешки, хотела, видимо, переломить его и не стала.

— Ешь, — махнула она рукой. — Долго блукала, поди? Ешь, а я покудова из хлева кизяков еще принесу.

Мими отламывала от лепешки понемногу, пила молоко. Голод давал себя знать, и было трудно его сдерживать.

Хозяйка вошла с кизяком, подбросила в печь.

— Что ж ты и не ела почти? Поклевала только. Налить еще молока?

Мими помотала из стороны в сторону головой.

— Ну как хошь. — Хозяйка подтолкнула ее к печи. — Лезь тогда на печку. Только Нюрку там не разбуди!

— А я не сплю, — донеслось с печки.

— Да ты разве пропустишь что, — сказала мать и снова подтолкнула Мими. — Чего ж ты?

— Не хочу, — сказала Мими.

— Ах ты, беда с вами. Погреться-то надо?

— Мне надо найти Марци.

— Какие тебе марци? На улице такое делается!.. Вон молоньи так и секут! Иди, иди, утром найдешь.

Печка была теплая, и сразу стало сморить в сон. И Мими тут же заснула бы, если бы не Нюрка. Нюрка прикусывала белыми зубками кожу на своей руке и изо всех сил таращила на Мими глаза.

— А Мишка тети-Лизин говорит, что цыгане — вшивые.

— Нюрка! — закричала хозяйка. — Ох, оторву я тебе твой язычок!

— Он говорит, им цыганка вшей напустила, — упрямилась Нюрка.

— А ты верь, — упрекнула хозяйка.— Это они своих не вывели.

Такие слова, какие сказала Нюрка, Мими слышала не раз, и они были тем горше, что в них была правда.

— Я вот скажу Марци, и он твоему Мишке губы оборвет, — сказала она вполголоса. Нюрка раскрыла рот и еще сильнее вытаращила глаза, силясь видимо, представить Мишку с оборванными губами. Мими понаслаждалась ее изумлением и прикрыла веки. Теплота растеклась по телу, неохота было даже шевелиться...

— ...однако все это кончилось не так уж смешно, — слышит она голос гаджо. — Та некрасивая девушка, которой цыганка гадала в старом сарае, все сделала по гаданию и стала ждать. Но парень так и не подошел к ней, наоборот, обходил стороной, когда она шла мимо. Тогда девушка выпила уксусной эссенции, и ее пришлось увезти в больницу...

«Дура эта некрасивая была, — думает она рассеянно. — Они все от любви так дуреют, эти гаджо. А чем пить уксус, лучше бы подошла сама к этому чаво да так бы на него поглядела, чтобы он тут же с ума сошел...»

— ...А цыганка не знала ничего, — продолжает гаджо. — И когда снова была в нашей деревне, вошла в избу девушки, чтобы потребовать еще кое-что за свою ворожбу. В избе никого не было. Цыганка открыла дверь в горницу и тут, наверно, увидела в окно, что к избе идет мать девушки и еще одна женщина, соседка. Мать девушки как раз приехала из больницы и на чем свет стоит ругала цыганку. Мол, попалась бы мне эта черная выдра — в порошок бы стерла. Цыганка, конечно, сразу сообразила, в чем дело. И как-то незаметно выскользнула из избы, женщины только на другой стороне улицы ее увидели. Они умеют это, цыганки. А как у них это выходит — черт их знает. Иногда даже трудно понять.

«Что ж тут непонятного? — думает она, дослушав рассказ. — Совсем просто...» И громко говорит вслух:

— Хочешь, гаджо, скажу как?

Тот вздрагивает, поворачивает голову к ней. Не ожидал, что она его слышит.

— Скажи, — говорит с опаской.

Она начинает быстро перебирать черешины бус.

— Как-то поругались мы, гаджо, с Суской, с мужем. В Ташкенте дело было. И сказала я ему, что если он будет на меня кричать и бить меня, то я уеду в Алма-Ату к Марци. Он зубами заскрипел от злости. Нож схватил. И давай меня гонять по улице! А я вбежала к одним узбекам в дом и за дверью стала. Он — в дом, я — из дома. Вот и все. Но цыганки и не так умеют, гаджо.

— Он там весь дом, наверно, перерыл, — смеется заискивающе гаджо.

— Перерыл, — кивает она. — Узбеков перепугал.

— А как же потом?

— А потом, гаджо? Остыл он — я к нему. Обняла и поцеловала, да так, что все он забыл. Любил он меня, Суска.

— А ты? — вопрос у гаджо сорвался с губ ни с того ни с сего. Зачем ему знать, любила ли она Суску?

Она оставляет бусы, поднимает голову.

— Спроси у своей жены, гаджо.

Все весело смеются. Гаджо тоже крутит головой.

Любила ли она Суску? Вряд ли... Она не понимала еще ничего тогда. И ей плохо было одной. Да и Суска был как все цыгане, понятный был, веселый, а Марци жил в селе, а потом стал жить в большом городе, в Алма-Ате, и был как гаджо. Он совсем был как гаджо, пошел учиться на врача. Он волю забыл.

«Суска так говорил...» — думает она, прислушиваясь к себе. Ей почему-то грустновато, словно она кем-то обманута, а кем — неизвестно.

Гаджо смотрит на спящего ребенка.

— Ты знаешь, что его ждет? — говорит он.

Она пожимает плечами.

— Лучше продолжай, гаджо, врать про цыган.

Его губы трогает улыбка.

— Да что. Я как будто все интересное уже рассказал. Правда, вот еще один случай помню. Приехал я как-то к оседлым цыганам. Жили они в деревеньке, рядом с моим селом...

Село. Она вспоминает то село, в котором ночевала после дождя.

Женщина гаджо не отпускала ее:

— Куда ты пойдешь? Поживи, войди немножко в тело. Вон на лице одни глазища остались. Ходите вы по земле, будто ищете что, а что ищете?.. Набродишься еще.

Мими не осталась.

На небе еще проступали звезды, а она была уже далеко за селом. В жидком свете восхода звезды казались размытыми, как это часто бывает серыми осенними утрами. Она шла по холодной вялой траве, разрывая босыми ногами серебристую паутину. Руки она прижимала к груди. Ее била неуемная дрожь — видно, перемерзла вчера.

Хуже того, она почувствовала, что совсем заблудилась.

Тропинка свернула в небольшой лесок. По бокам потянулись кусты шиповника, увешанные красными кувшинчиками плодов. Мими на ходу срывала такие кувшинчики, разгрызала их пополам и вышелушивала мохнатые семена. Кувшинчики были гладкие и пресноватые на вкус, потому что еще не вызрели. «Найду Марци, — думала она, — и пойду с ним к тем оседлым цыганам. Пусть они примут наш табор к себе. Почему они живут, как люди, а мы должны скитаться?..»

Наконец лесок кончился, и она остановилась на берегу реки.

Моста нигде не было. Мими подобрала платье и вошла в воду.

От холода заломило ноги. С каждым шагом дно опускалось все больше и больше. Затем оно ушло из-под ног, и она поплыла.

Она не боялась реки, но не ожидала, что течение на середине такое сильное. Она стала слабеть.

Она не помнила, как добралась до другого берега, как ей удалось поймать рукой ветки лозы, свисающей с крутого глинистого берега. Долго она лежала без сил на траве. А когда стало чуть лучше, заставила себя встать. И долго продиралась сквозь заросли дикого кустарника, который был здесь гуще, чем на том берегу. А потом увидела шатры и поняла, что там, в лесу, какой-то табор. Она хотела закричать и не могла — зубы стучали от дрожи. Она споткнулась о какой-то пенек и упала.

Здесь и нашли ее цыгане раскинутого в лесу табора. Как ей рассказывали позже, она металась в горячке и что-то пыталась сказать сухими от жара губами.

Она долго боролась с болезнью. К болезни примешалась глухая тоска по своему табору. Мими попала в табор так

называемых «люли» — среднеазиатских цыган.

Целыми днями она лежала в движущейся кибитке и, подперев голову рукой, смотрела, как в окно, в проем входа. В проеме видны были клочок воли и понурая морда лошади из упряжи следующей кибитки. Лошадь прядала ушами и косила на Мими влажно-лиловым глазом. Скрипели колеса; пыль проникала под тент кибитки, оседала на перине и на кухонной утвари, на пестрых узорах ковра, скрипела на зубах. Звучали, перебивая друг друга, голоса цыган-люли. Дика была для нее их речь. В их речи было много узбекских, киргизских и казахских слов, и сколько ни вслушивалась она в них, они оставались для нее загадкой. И так было довольно долго.

Шло время, а она все кочевала с чужим табором. Порой ей казалось, что она всегда жила в этом таборе — так много прошло времени. Она подросла и на многое уже смотрела другими глазами. Она была не очень высокая и худенькая, зато гибкая, как ветка. Когда она, бывало, шла вдоль лотков по базару в своих широких цветастых юбках и розовой кофте, с дешевенькими, но ярко поблескивающими браслетами на запястьях смуглых узких рук, на ней задерживались подолгу взгляды не только мужчин, но и женщин. И не только цыган. Юноши гаджо пытались заговаривать с ней или просто дотронуться до нее. Она знала силу своей молодой улыбки, и улыбка стала ее оружием при добывании денег. Добыча Мими бывала неплохой, но глава семьи люли был вечно недоволен. Ему все было мало. Кроме того, он упорно не считал ее членом семьи.

— Не для того мы подобрали тебя в лесу, чтобы ты валяла дурака! — кричал он на нее, когда выручка была небольшой. — Вон какую кобылу выкормили, а дел те марел три года*!

Чтобы он не кричал, она стала утаивать часть больших денег и добавлять из них, когда приходилось добывать мало.

Она быстро усвоила искусство цыганить. Научилась гадать на картах и предсказывать судьбу человека по расположению линии на его ладони. Сначала ее удивляло, как легко люди поддавались обману, а потом она поняла, что нет ничего сильнее в людях, чем вера в лучшее будущее. И она зажигала перед ними огонек, а они принимали его за солнце. Иногда она думала: а что впереди у нее самой? И не находила ответа.

Табор люли давно двигался на юго-запад и теперь кочевал в предгорьях Заилийского Ала-Тау. После такыров — подбеленных солью сухих степей — редкие островки зелени казались чудом. Но островки попадались чаще и чаще и в конце концов слились в огромный зеленый массив, затопивший столицу Казахской Республики — город Алма-Ату.

Табор сделал привал в пригородной зоне, у подножия вечно заснеженных горных хребтов. Подойти ближе к городу побоялись. Прошли слухи, что бродяжничество запрещено.

Вечером у костра люли обсуждали это событие.

— Как птица со связанными крыльями, так и цыган без кибитки, — говорил старый цыган с русским именем Федор. — И предки наши кочевали, и предки предков кочевали. Цыган привык к воле.

— Трудно сейчас кочевать, — вздохнул молодой цыган, который был знаменит тем, что его жена второй раз родила двойню. — Народ умный стал, детей не прокормишь, а уж выпить и совсем не на что.

— Что ж, по-твоему, жить в вонючих городах? — рассердился старый Федор.

— Думаешь, оседлые живут лучше?

— Они живут, как люди, — вставила Мими.

— Что бы ты понимала, сопливая девчонка! — прикрикнул старик. — Как люди!.. Работают за кусок с утра до ночи, вот какие они люди!..

Мими смотрела на языки огня, похожие на концы алого галстука.

— Их дети ходят в школу, — сказала она.

— А, — махнул рукой старик, — что в том толку? Там не научат, как подковать коня или как вырезать из темного дерева красивую трубку.

— Там учат считать и писать.

— Были бы деньги, мы и так сосчитаем. А писать нам незачем. — Старик достал трубку и стал набивать ее табаком. — А ты помолчи, когда говорят старшие. И иди отсюда, иди, не твоего ума это дело.

Мими неохотно отошла. Она вспомнила Марци, а потом — женщину гаджо с волосами цвета зрелой пшеницы и долго

---

* проклятье на твою голову!

стояла, прислонясь к стволу старого тополя, и тихонько улыбалась. Когда шершавая кора дерева холодит спину и ладони рук, а в десяти шагах пылает костер и от него наползает терпкий запах дыма, как тут не вспомнить что-нибудь хорошее?..

Очнулась она от криков. Они доносились от костра. Народу там стало больше; костер пылал жарче. И, наверное, жарче стал спор. Она подкралась поближе, так, чтобы ее не заметил старый Федор, и стала смотреть.

Около костра люди раздвигались, образуя небольшой полукруг. В этот полукруг вышел тот самый цыган, по прозвищу Черный, у которого было много детей, и неженатый чаво Булат. Булат был из барвалэ — богатых цыган, гордый и подвижной, как огонь. Он всегда был против того, чтобы перейти на оседлую жизнь, и презирал тех, кто был к этому склонен. Оба цыгана с ненавистью смотрели друг на друга, в руках у обоих были тяжелые гибкие плети. Видно, спор зашел так далеко, что не мог быть разрешен словами.

Булат внушал ей симпатию, но вот в воздухе тонко просвистела его плеть, и Мими почувствовала себя так, словно эта плеть скользнула не по лицу Черного, а по ее сердцу. И как только на лице Черного вспух широкий багровый рубец, она почувствовала, что точно такой же рубец пересек и ее сердце. И с жестокой радостью отметила, что и ловкий чаво получил свое: на его лице плеть его противника тоже оставила заметный след. Она смотрела, не пропуская ни одного движения мужчин, а две фигуры у костра под крики одобрения сходились и расходились, и тени от них, большие и четкие, метались по стенам шатров и по стволам пирамидальных тополей. Потом осталась одна тень. Она гордо выпрямилась — это была тень Булата.

Мими, потрясенная, отошла к своему тополю. Она знала, что сейчас Булат поднимет Черного и они пожмут друг другу руки и пойдут вместе пить вино. Этого требует неписаный закон табора.

Она стояла у тополя, и шершавая кора его по-прежнему холодила спину и ладони рук, но в душе Мими была грусть. Она долго смотрела перед собой, и желтый холодный закат бил ей прямо в глаза.

На следующий день глава семьи послал ее в город. За время кочевья по такырам истощились съестные припасы, и табор жил впроголодь. Глава семьи был очень зол, потому что давно не пил вина.

— Без денег не приходи! — приказал он. — Черт мне будет брат, если я тебя не побью, когда ты придешь без денег!

Добыть удалось лишь немного фруктов и хлеба, да подгулявшие парни гаджо бросили в ее корзинку несколько серебряных монет. Их не хватило бы даже на бутылку самого дешевого вина. Мими отправилась с Зеленого базара на железнодорожный вокзал.

Она шла по гудящему залу ожидания, мимо диванов, на которых скучали пассажиры, бросала изредка:

— Погадаем, ласковый... Всю правду скажу.

Желающих не было. Она остановилась и с грустью стала рассматривать людей. Она и любила и ненавидела залы ожидания. Любила за то, что здесь и днем и ночью не затихала жизнь, а ненавидела за то, что была здесь как бы чужой. Кто-то ждал поезд, но это была не она. Кого-то ждали с букетом красных роз, но ждали не ее. Люди приходили в зал ожидания, чтобы встретить дорогих им людей или через несколько часов отдаться торопливому стуку колес, а она приходила сюда добывать кусок хлеба.

Никогда ей не было так грустно.

— Погадаем, золотая?..

Она чуть не выронила из рук корзинку. Она повернулась и стояла, беспомощная, перед этим молодым цыганом, который обнажил в улыбке белые, как снег, зубы. Жесткие черты его лица были знакомы. Она не верила своим глазам.

— Суска! — бросилась она к цыгану.

— Долго же ты не узнаешь своих, — сказал он, оглядывая ее. — А мы думали, что тебя уже нет в живых.

— Суска, дорогой! — говорила она, волнуясь. — Неужели это ты?!

Она отступила шаг назад. Он хорошо выглядел. И в нем было много цыганского, хотя одет он был в клетчатую синеватую рубашку и черные узкие брюки. На ногах у него поблескивали черным лаком модные полуботинки. А талию охватывал цыганский, вязанный из цветной шерсти, пояс.

— А ты совсем чайори*, — сказал он.

* девушка.

— Ну, рассказывай, — теребила она его за пояс. — Где наш табор? Как моя мать и дадоро? А пуро Мусай? Все ли здоровы?

Суска увел ее подальше от людей в угол зала, туда, где стоял в деревянной кадке какой-то цветок с блеклыми узкими листьями. Мими посмотрела на листья да так и не отвела от них взгляда.

— Табора нашего уже нет, — рассказывал Суска. — Разбрелись семьями по городам, когда указ вышел. Мать твоя долго болела. Дадоро выгнал ее босиком на снег, и она стала чахнуть. Умерла она. А он встретил женщину из другого табора и ушел с ней. Пуро Мусай жив. Что ему, сивому мерину, не жить? Крепкий — как из железа...

Мими слушала и не слушала. Она смотрела в угол. Несколько листьев лежали — сухие — под стволом цветка на закаменевшей, в темных трещинах земле.

— ...мне тоже паспорт пришлось получить, — говорил между тем Суска. — Смотри. — Он показал книжечку в темно-зеленой обложке, раскрыл ее в конце. — Уже два раза был прописан. Видишь? — Он ткнул пальцем в книжечку, и она увидела там три лиловых пятна.

— Завтра пойду выписываться, — сказал он. — Уходим отсюда. Больше двух недель в одном месте не живем. А кочуем теперь на поездах.

Он спрятал книжечку.

— Ты что, плачешь, что ли?

Она отвернулась, вытерла глаза. Он взял ее за плечи.

— Едем с нами, а? В Ташкент. Там, говорят, цыганам хорошо. А?

Она подумала немного.

— Нет, — покачала головой. — Я привыкла к люли. И семье будет трудно без меня.

— Э! Конь не станет есть сено, если рядом овес!

— Нет, — твердо сказала Мими. — Найко любят меня. И если бы не их дадоро, было бы совсем хорошо...

— Что, он тебя бьет?

Она промолчала.

— Ну, дело твое. А я думал, ты с нами поедешь.

— Нет, — повторила она. И, помолчав, добавила: — У тебя нет денег?

— Был у цыгана терем! — засмеялся Суска. — А сколько тебе?

— Рубля три.

— Ну, это пустяк. Подожди меня здесь.

Он ушел в глубь зала. Она видела, как он подходил к пассажирам, что-то говорил им и показывал рукой на нее. Наверно, вызывал у них сочувствие обычной историей о больной жене и больном ребенке. А может, у него был какой-нибудь свой прием.

— Возьми, — блеснул он весело глазами и вложил ей в руку несколько помятых рублей.

— Здесь больше, — сказала она.

— Ничего, мешать будут — выбросишь! — захохотал он. — Бери. Я себе всегда достану.

Они молчали.

— Я пойду, — сказала Мими.

Он кивнул.

— Меня тоже ждут. — Хотел идти и остановился. — Да. Знаешь, где меня найти, если надумаешь с нами ехать?

По его рассказу она поняла, что это не так далеко от того места, где раскинул свои шатры табор люли.

Возвратилась она в табор после полудня. Ребятишки бросились к корзинке; глаза у них поблескивали от голода сильнее обычного.

— А где мать? — спросила Мими.

— Там, — махнул на шатер маленький Никола. — Рожает.

Хозяйка была беременна и ходила последние дни. Мими взяла из корзинки фруктов и пошла в шатер. Хозяйка спала, вздрагивая во сне. Мими оставила фрукты у ее изголовья и вышла.

Двое найко успели вытащить из корзинки обе бутылки вина и пытались зубами открыть пробки. Она отобрала бутылки и отнесла их хозяину.

— О-о... — прорычал он, выхватив задрожавшей рукой бутылки.

Он прижал их к груди, как матери прижимают детей. Мими не могла без смеха смотреть на него. На его лице тоже мелькнуло что-то вроде улыбки, что с ним бывало очень редко.

— Нам, мужчинам, горькое сладко, — пробормотал он. — А ты купила бы себе конфет.

— Я уже большая, — смеялась Мими. — Уже чайори.

— Ну и хорошо. Целоваться с мужчинами пора.

Он посмотрел на нее так, словно видел ее тело сквозь одежду. Ей стало неудобно, и она поспешила выйти из шатра.

Был тихий летний вечер, и она ушла к текущей неподалеку горной речонке и присела там на теплый от дневного жара камень. И сидела до тех пор, пока не стемнело. Речонка в темноте стала казаться извилистой белой тропинкой. Она выбегала из тьмы и исчезала во тьме. Когда-то Мими сидела вот так же на камне у реки, а рядом был Марци. Она часто о нем вспоминала. С ним в ее жизнь вошло что-то хорошее, как сказка. Интересно, какой он теперь? Она мечтала о встрече с ним и не могла тогда знать, что эта встреча будет и будет очень скоро.

Она вздохнула и пошла к табору. Было поздно и глухо; лишь речка ворочала во тьме камни. Никогда Мими не чувствовала себя такой одинокой, никому не нужной. Она шла, не разбирая дороги, и ветки деревьев хлестали ее по лицу.

Почти ощупью она нашла маленький шатер, в котором спала с полуглухой старухой Зарой. Старой цыганки не было, Мими поняла это, ощупав ее постель. Видно, Зара ушла еще днем в город и не вернулась. Даже поговорить было не с кем. Мими нашла свою постель и, не раздеваясь, легла лицом вверх, заложив руки за голову.

Она долго лежала с закрытыми глазами; потом веки стали тяжелеть. Она смутно услышала, что кто-то вошел в шатер. Она подумала, что это пришла Зара, и плотнее сомкнула веки. И вдруг в лицо ей из темноты пахнуло винным перегаром, и тяжелые мужские руки, какие были лишь у хозяина, нащупали ее грудь и зажали ей рот.

С трудом ей удалось высвободить одну руку и достать спрятанный под поясом юбки небольшой нож, какие бывают у каждой таборной цыганки. Удар ее был слаб, и все же хозяин зарычал, как зверь, и схватился за бок...

Ее воспоминания обрывает частый стук, похожий на стук града по дереву. Это она нечаянно так потянула за нитку бус, что разорвала ее. Черешины бусин раскатились по грязному полу.

Гаджо с морщинистым лицом помогает собрать их. Подавая ей бусины, он пристально смотрит ей в лицо.

— Мучаешься ты, вижу, — говорит он так, будто просит простить его за что-то.

— В жизни всякое бывает, гаджо, — вздыхает она. Кивает ему и больше не слушает его.

Никто не видел, как Мими ушла из табора. Она брела, как слепая, спотыкаясь и цепляясь разорванной юбкой за кустарник. Она вышла на одну из окраинных улиц города и пошла по ней.

Улица была пустынна; башмачки Мими звонко цокали подковами по асфальту. Она дошла до перекрестка и машинально свернула в другую, более широкую улицу.

— Эй, цыганочка! — услышала она вдруг. — Поджимай ноги, оболью!

Кричал шофер из кабины машины, поливающей улицу. Мими едва успела отскочить от обочины мостовой на тротуар. Холодные брызги грязной воды ударили по ее ногам. Шофер выглянул из кабины, подмигнул:

— Что, на работу спешишь?

Только теперь она увидела, что вокруг нее — город. Было совсем светло. Куда-то торопились первые прохожие. На лесах строящегося по ту сторону улицы многоэтажного здания появился рабочий, не спеша прикрыл лицо темным щитком, и под его рукой заплясала, разбрызгивая искры, голубоватая, ослепительная дуга.

«Что, на работу спешишь?» — снова прозвучали в ее ушах насмешливые слова, и острая зависть к рабочему резанула сердце. Забраться бы вот так же высоко и знать, что тебя никто не достанет, никто не оскорбит.

Она повернулась, чтобы идти назад, и взглянула вдоль улицы. Улица заметно взбегала вверх, и Мими увидела горы. Она даже слегка отшатнулась, так высоки и близки были они сейчас. Раньше она видела их повитыми туманом или заволоченными тучами, а сейчас они, очищенные от всего этого, четко выделялись на матово-синем фоне неба, и на их хребтах лежал вечный и белый, как облака, снег. Мими повернулась к горам и пошла вперед. Она не могла бы идти и все время видеть эту незапятнанную белизну гор.

Она была в отчаянии. Что делать? Куда идти? Лучше всего было бы найти Суску, но она невнимательно слушала его и еще плохо знала окрестности города.

Она снова оказалась на окраине. И вдруг увидела шатры. Правда, они стояли рядом с окраинными домиками, но это были настоящие цыганские шатры. Она подошла к ним, обходя стороной

огромные вывороченные из почвы валуны и глубокие вырытые экскаватором канавы. Неподалеку грохотала механизмами большая стройка. Железные чудовища, скрежеща зеркально поблескивающими зубьями, вгрызались в каменистый грунт. Мими терялась в догадках. Почему здесь шатры?..

Она подошла к маленькой фанерной будке и заглянула в разбитое окно. Там, в конторке, сидел мужчина гаджо, судя по чистой одежде — начальник, а вместе с ним там было и несколько рабочих, и один из них был цыган. Старая плисовая жилетка цыгана была припорошена кирпичной пылью; пыль осела и на его лохматой бороде, и от этого казалось, что черные его волосы потихоньку тлеют. Начальник сидел за отдельным столом и перебирал пачку каких-то синих и зеленоватых книжечек.

— Навязали мне вас, чертей, — сказал начальник, поглядывая на цыгана.— Сладу с вами нет. Вот, пожалуйста. — Он достал из стола еще одну пачку книжечек. — Сбежали со стройки и документы побросали. Будто это какой-то мусор. — Он поворошил книжечки. — Видишь ли, работа им трудновата. А у самих никакой специальности. Не сразу же жар-птица в руки попадет. Понимать надо. Некоторые же привыкли. И неплохо работают. Ну, трудновато на первых порах. Так зато они будут честно заработанный кусок есть. Новой жизнью начнут жить. А эти? — он снова поворошил книжки.

Цыган подошел к оцинкованному бачку, стоящему на чурбаке в углу конторки, и зачерпнул из него железной кружкой воды. Выпил все, что зачерпнул, затем сплюнул в угол под бачок.

— Тьфу, наверно, дня два не меняли. Железом отдает.

Он сел рядом с начальником, достал из кармана брюк кисет.

— Слушай, начальник, — выдохнул он вместе с дымом. — Вот ты все про работу... А ответь мне на такой вопрос. Я вот работаю, а кто мою семью кормить будет?

Рабочие засмеялись. Мими тоже не могла сдержать улыбку.

— Как это? — растерялся гаджо. — Ты же работаешь? Получка будет. Аванс. Наряды закроем.

— Э, — махнул рукой цыган. — Шиш это, а не аванс. Разве это деньги?

— Работай лучше и больше будет, — недовольно сказал гаджо.

— Хм!.. — цыган сплюнул снова, на этот раз чуть ли не на сапог начальника. — Работай... Ты мастер подгонять. А давай меняться? Ты иди потаскай кирпичи, а я здесь буду сидеть, бумажки писать. А?

Рабочие захохотали, засмеялся и начальник. Похлопал цыгана по плечу.

— Ох и черт же ты, Миша!

Но цыган его не слушал. Он заметил Мими и быстро вышел к ней.

— Уходи отсюда, — сказал он сурово. — Не хватало еще, чтобы наши чайори таскали кирпичи.

— Мне некуда идти, — сказала Мими.

— Все равно уходи. Я тоже скоро отсюда уйду. Иди.

— Кого это ты прогоняешь? — спросил прораб, показываясь в дверях. — Подожди, мне нужно с ней поговорить.

— Э, о чем вам говорить? — взметнул брови цыган. — Поговори со мной, если тебе надо. А она пусть табор ищет. Табор, начальник, это — воля и эх... да что ты понимаешь?

И, уже уходя, Мими услышала, как он снова тяжело вздохнул за ее спиной.

Так и ушла она опять в город. Может, это было и к лучшему, а может — к худшему?..

Она прикрывает глаза и делает попытку вспомнить то, что было дальше. Но вспоминались лишь пыльные улицы, жесткие скамьи парков, на которых она ночевала, обрывки тревожных снов. Четче всего припомнилось, как судьба неожиданно столкнула ее с Марци. Да, это произошло совсем неожиданно.

...Она шла, сворачивая из улицы в улицу, шарахаясь от прохожих, которые, как ей казалось, догадливо посматривали на нее. «Зато будет на что поехать в Ташкент, — думала она, придерживая левой рукой сверток, спрятанный под блузкой и одним концом заткнутый за пояс юбки. — На толкучку, а потом, может, Суску найду...»

Это было почти новое шерстяное платье темно-вишневого цвета. Оно бы как раз подошло ей. Мими сняла его с бельевой веревки. Платье было еще сыровато и приятно холодило голую кожу живота.

У одного из зданий ей пришлось припасть спиной к стене, чтобы пропустить несколько девушек, идущих, видимо, на

завод, мимо розовых корпусов которого она только что прошла. Девушки громко хохотали, а одна из них, казашка, смеясь, сделала неверный шаг и толкнула локтем Мими.

— Сауле, ты людей-то не трогай! — улыбаясь, сказала казашке русская девушка с такими синими чистыми глазами, что в них нельзя было без удивления смотреть.

Казашка оглянулась:

— Извини, девочка.

А русская все улыбалась и все смотрела на Мими. Мими стало нехорошо от этой чистой сини, что была в ее глазах. Платье, казалось, уже не холодило, а жгло кожу живота. Что она так пристально смотрит? Уж не видела ли чего? Глупее всего было бы сейчас попасть в милицию. Она выбежала на перекресток, чуть не попав под автобус. Шарахнулась от автобуса и побежала, спотыкаясь о шпалы, по трамвайным путям. Вожатая трамвая дала издали три тревожных звонка. Мими растерялась. Назад пути не было — там все еще стояла эта, с невыносимо чистой синью глаз. А тупая морда трамвая уже заслонила собой почти всю улицу. Мими рванулась в другую сторону и зацепилась одним башмаком за выступ шпалы.

Она не видела, как задымились литые колеса вагонов, намертво схваченные тормозами. Она только почувствовала резкий запах горящей смазки и услышала ожесточенный скрежет. Потом чьи-то крепкие руки подняли ее с рельса. Она все придерживала сверток руками у живота, и тот, кто ее поднял, взял ее за плечи и так и повел ее к тротуару. Следом неслись выкрики:

— Молодая, а что вытворяет!

— В милицию ее надо. Что-то тут не то.

— Видно, жить ей надоело. Вот она и того... под трамвай.

— Товарищи! — сказал, чуть замедлив шаг, тот, кто ее поднял. — Она не нарочно. Она поскользнулась на рельсе. Это моя сестра. Ко мне бежала.

— Ты не защищай! — закричала истошно какая-то женщина. — Ишь, какой брат выискался! Вы, таборные, все — родня. Видно, ее хахаль ты — вот кто! Вот так каждая дурочка будет за своим хахалем по путям бегать, а мне — отвечай?..

Тот, кто поднял Мими, уводил ее подальше от места происшествия. Он обнял ее за плечи, как сестренку, и она покорно шла, диковато озираясь по сторонам. Она поняла, что он — тоже цыган, но все не было времени взглянуть на него. В скверике они остановились, и он отстранил ее от себя. Она подняла на него глаза и не поверила себе. Но это был именно он — Марци. Он, правда, очень повзрослел, и черты лица у него стали резче и глубже, а глаза смотрели еще тверже, чем раньше, но это были именно его, смелые и широко открытые глаза. Под ними лежали синеватые тени, и от этого казалось, что они блестят неестественно ярко.

Одет он был, как гаджо, в черный костюм с белой рубашкой и темным галстуком, а под мышкой держал, прижимая к боку локтем, набитый чем-то портфель, тоже черный — из тисненой кожи.

Он взял портфель в руку и присел на скамью, все еще глядя на нее.

— Марци. — Мими казалось, что все это во сне. — Не узнаешь?

— А ну-ка, садись. — Он потянул ее за рукав, и она тоже присела на скамью, на самый краешек. — А ну-ка, смотри на меня. Мими? — Она кивнула, и его глаза заметно ожили. — Ну точно же! То-то я смотрю — что-то знакомое. Ты немного изменилась. — Он помолчал. — А я еще издали тебя увидел. Точнее, увидел, что это кто-то из табора, — таборных сразу видно. Но, конечно, не знал, что это именно ты. Это Комсомольская улица. — Он указал движением головы туда, где под солнцем поблескивали трамвайные рельсы. — И я тут каждый день в институт хожу. На врача там учусь. И вот смотрю — какая-то чайори прямо по рельсам бежит. А это — ты. Ты что бежала?

Мими отвела глаза в сторону.

— Так.

Он пристально взглянул на нее.

— Ну, ладно. Мало ли почему может бежать человек?.. Вот что. — Он снял с колен портфель и встал. — Давай зайдем в институт, мне надо там сказать, что я пропущу одну-две лекции. И потом обо всем поговорим. Так, наверно, будет лучше. Ну что, идем? Это недалеко.

— Идем, — сказала она неуверенно, не понимая, куда надо идти и зачем. Она все еще как-то не могла прийти в себя.

Они вышли из сквера и оказались

опять на той улице, по которой ходил трамвай. Мими старалась держаться поближе к зданиям. Левой рукой она попрежнему придерживала сверток.

— А я тебя вспоминал, — сказал Марци. — И не раз.

— Да? — Она почувствовала, как в груди что-то радостно замерло. Но тут какой-то прохожий разъединил их. А когда они опять сблизились, то Марци заговорил уже о другом — стал рассказывать, как тосковал здесь первые дни по родным алтайским местам. И как долго не мог привыкнуть к шуму большого города. И вообще — к городу.

Они приостановились у каменных колонн входа в широкий асфальтированный двор, окаймленный бело-желтыми корпусами зданий, почти замкнутых в четырехугольник.

— Вот в этом храме науки мы приносим ежедневные жертвы, — показал Марци рукой на здания. Она ничего не поняла из его слов, но на всякий случай одобрительно кивнула ему. Она была занята другим — пыталась по складам прочесть то слово, что было выведено крупными золотыми буквами на зеркально-черной дощечке, врезанной в центральную колонну входа. Читать по-русски ее научил от нечего делать старый Федор.

— Ин-сти-тут... — прошептала она. — Так это и есть институт?

— Он самый. Нелегко мне было сюда попасть. Конкурс был страшенный. Но ничего, попал, как видишь. Немножко помогло то, что я цыган...

Выше слова, написанного крупными буквами, было еще одно, помельче. Мими никак не могла прочесть его. Оно было очень длинное, и когда она доходила до конца, то забывала начало.

— Идем, — сказал Марци, понаблюдав за ней. — Не смущай вывеску.

Он повел ее в правое крыло здания.

— Подожди здесь, — сказал он, когда они поднялись на второй этаж и остановились в коридоре. — А я поищу своих и поговорю со старостой группы. Они, наверно, в семнадцатой аудитории.

Он ушел, а она заметив в простенке большое зеркало, подошла к нему. Из него на нее глянуло измученное бледное лицо с угольно-поблескивающими глазами. Недаром Марци сказал, что она изменилась. Раньше у нее лицо было веселее. И этот сверток!.. Она нащупала в поясе юбки иголку с ниткой, присела на подставку зеркала и, изредка озираясь, стала быстро пришивать платье к юбке, так, чтобы оно не падало. В глубине коридора показалось несколько человек в белых халатах. Она тут же откусила нитку зубами и отпрянула от зеркала. Люди свернули в боковую дверь.

Она стала разглядывать висящие на стенах таблицы и рисунки. То, что она увидела, привело ее в изумление. Тут были изображены в отдельном виде самые разные части человеческого тела, и все это было такое, словно было недавно вынуто из живого организма или отъято от него. Рисунки были испещрены черными стрелками, кое-где сломленными пополам, и под стрелками было что-то напечатано совершенно непонятными и очень странного вида буквами. Тут была какая-то тайна, и она чувствовала, что между этой тайной и ею — пропасть. Она поспешила отойти от рисунков и не глядела больше в ту сторону.

Она снова подошла к зеркалу и поправила на шее низку красных бус и золотистые браслеты, охватывающие запястья ее рук. А потом повернулась на шум и увидела, что из одной боковой двери выглядывают несколько девушек в белых халатах, а Марци идет к ней и на ходу, смеясь, машет этим белым чайори рукой.

Он был теперь без портфеля и очень веселый — видно, все вышло так, как он хотел. Ей тоже стало весело. Он взял ее за руку и, увлекая за собой, побежал по лестнице вниз. Башмачки Мими зацокали по цементу ступенек, а сама она вскрикивала, боясь упасть, и смеялась.

— Помнишь, мы бежали с горы? — сказал он.

— Ага, — кивнула она.

— Я тебя ждал, а ты не пришла. — В его голосе был упрек. — А как ты оказалась в Алма-Ате?

Они вышли из института и пошли по тротуару.

— Ты не говоришь, как оказалась здесь, — напомнил он.

Мими не знала, как это рассказать.

— Ваш табор здесь?

— Нет. Нашего табора уже нет. А здесь табор люли. Я с ними.

— А как ты к ним попала?

— Так вышло.

Он нахмурил брови, похожие на крылья черной птицы.

— И ради чего люди мечутся по земле? Год назад мой отец чуть не ушел с табором. Как раз перед тем, как мне уехать в Алма-Ату. Проходили мимо бродячие цыгане и среди них оказались наши родственники. Стали уговаривать отца. Идем да идем. Развяжи, мол, крылья. Воля!.. Воля — это не табор, а — степь, горы, леса и сознание, что ты хозяин всего этого, а не приживальщик! А какая к черту воля — за чужой счет?..

Видно, ему было трудно удержать отца.

— Да, хуже всего то, что мы привыкли жить за чужой счет, — продолжал он. — Другие люди построили вот этот город, сеют хлеб, закладывают сады. А что мы, цыгане, оставляем после себя?.. Что мы даем людям за все то, что берем у них?..

Она посматривала на него с испугом. Его брови совсем сошлись на переносице.

— Зайдем в кафе, — сказал он. — Ты, наверно, не ела с утра.

Он заказал бифштексы и пиво. Мими ковыряла мясо вилкой, держа ее, как ложку. От нескольких глотков пива глаза словно застелило легким туманом.

— Ты что же, с табором прошла от Алтая до Алма-Аты?

Мими кивнула.

— А где вы еще кочевали?

— Везде. Не знаю.

Ей припомнился бесконечный скрип колес, желтая мелкая пыль, которая противно скрипела на зубах.

— У большой воды долго ехали, — сказала она. — Семь дней.

— Это, наверно, по берегу Балхаша,— решил он. — Хотелось бы мне побывать там... тянет меня на простор. Тут я — все такой же цыган.

Она чему-то обрадовалась.

— Пойдем с нами? — И, видя, что он снова хмурит брови, торопливо пояснила: — Не с табором люли, а с другими цыганами. Тут один зовет.

— Ты ничего не поняла, — сказал он с грустью. — Мне хочется занять настоящее место в жизни, понимаешь? Буду вот лечить людей, в том числе и цыган. Сколько их погибает в таборах от болезней! А к чему ты меня зовешь?

Мими растерянно молчала, не зная, чем огорчила его.

— Пойми меня, Мими, — подошел он ближе. — Ты мне как сестренка, и ты уже большая. Бросай цыганить. Не губи свою жизнь.

Она выронила из рук вилку, и из глаз ее брызнули слезы.

— Ты что? — сжал он ее руку. — Не надо. Люди смотрят.

Она вытерла глаза. Легкий хмель прошел, и предметы стали видны четче.

— Хочешь начать новую жизнь?

— Не знаю. Я не знаю как.

— Уйдешь из табора, будешь работать.

— Я не умею работать.

— Ну, это не беда, — сказал он с улыбкой. — Было бы желание, а цыгане — народ способный. Ты умеешь, например, прекрасно плясать.

Она потупила глаза, вспомнила свою пляску в школе.

— Я не смеюсь. — Он был и впрямь серьезен. — Ты словно создана для танца, такая красивая, гибкая фигура у тебя. И тогда ты плясала хорошо, только то была циничная пляска. Если бы ты плясала такие пляски, которые пробуждают в людях лучшие чувства... — Он на минуту замолк. — Слушай, а что, если мы попробуем сделать одно дело? А? Чем черт не шутит... — Он смотрел на нее так, словно видел впервые.

Она встала из-за стола. Он подозвал официантку и заплатил за обед.

— Идем на остановку, — сказал он Мими. — Нам обязательно надо съездить в одно место.

В автобусе было тесно. Марци пришлось обнять Мими за плечи, чтобы ее не толкали. Ей хотелось, чтобы автобус шел дольше. Верхняя часть стекол автобуса была голубого цвета, и за этими стеклами весело мелькали голубые пирамидальные тополя и голубые крыши зданий.

Ехали недолго. Через несколько остановок автобус подкатил к небольшой площади, и Марци подтолкнул Мими к выходу. Площадь расстилалась перед бело-желтым зданием, украшенным каменными узорами. Здание четко выделялось на фоне лиловатых гор с заснеженными вершинами. С боков его тянулись зеленые скверы с каскадами маленьких водопадов, окаймленных красным камнем.

— Как красиво! — восхитилась Мими.

— Это Оперный театр. Нам он и нужен.

Они вошли в подъезд, открыв тяжелую,

в темно-коричневых рельефных узорах дверь. Мими со страхом смотрела на нее. В первый раз в ее жизни перед ней открылась такая дверь.

В вестибюле Марци подошел к окошечку кассы и, наклонившись, стал что-то говорить. Мими медленно подошла, разглядывая афиши на стенах.

— Значит, с той стороны? — сказал Марци. — Да, а что идет днем?

— Через сорок минут — «Князь Игорь», — ответили из окошечка.

— Вот удача! — Марци подал в окошечко деньги. — Два билета в партер, пожалуйста.

Он получил билеты и повел Мими к выходу. Они обошли здание и вошли в него с другой стороны. Здесь было много комнат, наполненных людьми с очень накрашенными лицами и в странных одеждах.

— Мне надо Константинова, — сказал Марци одному из них.

— Вон в той комнате, — показал тот, поправляя на голове ярко поблескивающий шлем. — Такой, с седыми висками.

Дверь в комнату была распахнута, и у стола были видны два человека, склонившиеся над книгой. Мими осталась в коридоре и смотрела, как Марци что-то говорил человеку с седыми висками. Потом этот человек быстро пошел к двери и остановился перед Мими.

— Добрый день, — сказал он ей. — Извините, мне придется несколько бесцеремонно осмотреть вас. Из бродячих?

— Да, гаджо, — потупила она глаза. У человека с седыми висками был очень цепкий взгляд.

— Так, — сказал он и быстрыми шагами ушел к столу.

Мими прислушалась.

— Внешность и фигура очень сценичны, — говорил гаджо с седыми висками. — Придите, пожалуйста, завтра, я очень занят. Куда-нибудь пристроим. И учить будем.

— Большое спасибо, товарищ Константинов, — поблагодарил Марци.

— Обязательно приходите, молодые люди, — сказал тот, уже не глядя на Марци и снова листая книгу.

Марци и Мими вышли на улицу и направились опять к парадному входу. По лицу Марци блуждала хорошая улыбка.

— Зачем мы приходили к седому гаджо? — полюбопытничала Мими.

Он сжал ее руку.

— Завтра, возможно, одной бродячей цыганкой станет меньше. Понимаешь? Ты будешь в театре плясать хорошие пляски и получать за это честные деньги.

Она растерянно улыбнулась.

— Даже если ты не попадешь в театр, я вырву тебя из табора, — продолжал Марци. — Город большой, мало ли где можно пристроиться. Будешь потихоньку учиться, жить будешь, как люди. Сейчас так интересно жить!..

Мими доверчиво заглянула ему в глаза.

Они вошли в театр. Здесь было людно. Была распахнута еще одна дверь — внутрь здания. Марци подал билеты женщине у дверей. Как раз прозвенел звонок.

Марци отыскал места, указал Мими на кресло.

Кресло было обито красным бархатом. Она тайком погладила его и продолжала стоять.

— Садись! — повторил Марци.

Она присела на краешек. Свет погас и зазвучала музыка. Мими смотрела не отрываясь на сцену. Сначала она не улавливала всех слов, и Марци на цыганском языке рассказывал ей о том, как русский князь Игорь поехал воевать с половцами за честь своей земли и как попал в плен.

И все поникло от горя.

— О, дайте, дайте мне свободу —
Я свой позор сумею искупить!.. —

с болью в голосе пел чернобородый воин гаджо с широкими строгими бровями. Мими чувствовала, как ее сердце словно бы перехватывает железным обручем. Она переживала вместе с князем его позор и тосковала его тоской по русской земле. И вдруг осознала, что и сама родилась на русской земле...

И когда в половецком стане девушки стали танцевать очень красивый танец, она вынуждала себя смотреть на это холодными глазами плененного князя.

Лучше всех танцевала тоненькая девушка, гибкая, как травинка.

— Это Гудочкина, — сказал Марци.— На нее можно смотреть без конца... Если бы так же танцевали цыганки, сколько бы радости прибавилось на земле!..

Мими судорожно вздохнула.

В автобусе она молчала. Молчала и тогда, когда они шли по вечерней Алма-Ате.

Город зажигал огни. Белыми звездами вспыхивали фары встречных автомашин. Красные фонарики автобусных стоп-сигналов и зеленые светлячки такси двигались в разных направлениях над темным асфальтом. Такой же непонятный на первый взгляд хаос бывает и в душе или мыслях человека.

Мими не позволила провожать себя долго. Она сама не знала, куда идти. На одном из перекрестков она долго думала об этом и решила переночевать на железнодорожном вокзале.

Она легла на пол в зале ожидания, возле кадки с цветком. Уже сквозь дрему она услышала разговор двух женщин, сидящих неподалеку на диване.

— Цыганочка тоже куда-то едет...

— У них путь один — в Ташкент. Утром как раз поезд красноярский идет.

— Вы думаете, она бродячая?

— А то какая же? Ни чемодана, ничего. А документы, наверно, имеет, что оседлая. Они сейчас с документами ездиют.

— Согнулась, бедняжка... Нелегкая у них жизнь.

— А кто им виноват? Им власть всякие льготы дает. Работай да живи, как все. Так они пальцем не хотят пошевелить. Привыкли жить иждивенцами.

— Да, уж если и сейчас бродяжничать — то я прямо не знаю...

Обычный разговор, слышанный много раз.

Она проснулась поздно. Может, потому, что за окнами шел дождь и в зале ожидания было сумрачно. Она с тоской подумала, что до встречи с Марци еще много времени, которое некуда деть. И обрадовалась, когда в зал ожидания вошли два молодых цыгана и пожилая цыганка. Одного из цыган, высокого, Мими сразу узнала. Это был Суска.

Он тоже увидел ее.

— Хорошо, что ты решила ехать с нами, — сказал он. — Скоро билеты будут давать.

— А я не решила, — улыбнулась она.

— Что же ты тут делаешь?

— Я ушла из табора и хочу остаться в городе. Хочу начать такую же жизнь, которой живут гаджо. Я встретила Марци. Помнишь, тот, в красном галстуке?

— А, это тот, что рыбу ловил? Я его видел несколько раз в городе. Ну и что? Ты хочешь стать его женой?

— Ну тебя, — ударила рукой она его по плечу. — Он поможет мне устроиться на работу.

— Ты забыла, что ты цыганка, — нахмурил брови Суска. — Самое дорогое, что есть у цыганки, — воля. И ты хочешь отдать ее кому-то?..

Она растерялась и не знала, что сказать.

— Твоя мать никогда не работала. И твой отец. И отец твоего отца. А ты будешь носить камни? — продолжал он. — Или долбить ломом землю?

— Я буду плясать в театре, — защищалась она. — Хорошие пляски, как чайори гаджо Гудочкина. На нее можно смотреть без конца.

— Еще лучше! Стать в театре забавой для мужчин! Ты разве не знаешь, что там всех, кто пляшет, заставляют снимать платья, а потом пристают?

Мими была поражена. Она вспомнила седого гаджо, который смотрел на нее так, словно на ней не было одежды.

— Едем с нами, — настаивал Суска.— Я возьму на тебя билет.

— А как же Марци? Разве Марци хочет мне плохого? Ты врешь все!

— Марци давно не цыган. Он заодно с гаджо. Он и гуляет с белой чайори. Я видел.

— Врешь ты! — закричала Мими.

— Нет, — сказал Суска. — Они были в белых халатах. Они будут ходить вместе, а ты что?.. За ними бегать?

Она опустила глаза.

— Едем с нами, — не отставал Суска.

Она молчала.

— Она едет с нами, — сказал он и подозвал к себе цыганку.

— Знакомьтесь. А я схожу за билетами.

Вскоре подошел поезд. Дождь стал сильнее. Мими шла понуро к зеленому вагону и часто оглядывалась...

Что дальше было, и вспоминать не охота. Натерпелись они с Суской. А теперь и Суски нет. Она печально смотрит перед собой и видит лицо гаджо, того, в сетчатой шляпе. Гаджо глядит на часы.

— Через полчаса поезд, — говорит он. — Может, мы здесь и поставим точку?

Пассажиры поднимают шум.

— Доскажите, чего там, — просит старая женщина с усталыми глазами.

Гаджо смотрит нерешительно.

«Чего ломается? — думает она. — Язык-то все равно без костей». Она, если

бы хотела, могла рассказать побольше, да горько обо всем вспоминать.

Она где только не побывала за последнее время. Вместе с Суской прошла много городов и сел, много хлебнула всякого.

И вот она снова оказалась в Ташкенте.

Она вышла на привокзальную площадь, и, как в первый раз, когда она попала сюда, ее поразил запах пережженной солнцем земли. Наверно, это помнят все, кто побывал в Ташкенте.

И, конечно, она хорошо запомнила ташкентские базары, особенно в Старом городе, где часто бывала. Почти круглый год прилавки там завалены овощами и фруктами; персики и дыни желтеют ярче и пахнут сильнее, чем где-либо.

Однако ее не радовало все это. Жить было трудно, потому что совсем мало стало людей, которые верят цыганам.

Однажды она гадала одной женщине, но не сказала ей ничего такого особого, потому что не успела хоть что-нибудь выпытать у соседей. Женщина ничего ей не дала, хотя Мими просила за гадание вязаную кофту. Мими оскорбилась, кричала на всю улицу:

— Килу на тебя напущу! Как собака — на четвереньках ходить будешь!

А женщина, смеясь, захлопнула дверь. Она не верила в ее колдовство.

И все же Мими отомстила ей. Она часто украдкой приходила к дому женщины и однажды, улучив момент, забрала кофту, а заодно прихватила и еще кое-что. Женщина, конечно, плакала потом, рассказывая об этом соседкам. Мими не видела этого, но знала и мстительно радовалась ее слезам. Пусть запомнит, как обманывать цыганку!..

Впрочем, и Мими приходилось все чаще плакать. Суска жалел ее, но почти ничего не делал, как все мужчины, а пил много.

Как-то, когда уже вечерело, она поджидала его в доме, где они временно приютились. За окнами была поздняя осень. Ветер шевелил под деревьями желтую вялую листву. Суска вошел злой и приказал собирать вещи.

— Нам нельзя здесь долго жить, Мими, — сказал он. — Поедем на Алтай, там в лесах еще есть таборы.

— Как надоело, — сказала она. — И я ведь беременная, Суска.

— Этого только не хватало, — сказал он. Подумал немного и махнул рукой. — А, все равно поедем. Мы люди вольные.

И опять они пошли на вокзал. Падал снег. Он был липкий и таял на асфальте.

У привокзальной площади, перед обелиском павшим за революцию, жарко пылал вечный огонь. Мими постояла около, опустив голову, грустно стало до боли и никуда не хотелось идти... Никуда.

Шум поезда обрывает воспоминания. Здание станции слегка вздрагивает. К перрону подошел тяжелый товарняк.

— Скоро и наш поезд подойдет, — говорит гаджо в берете. — Мы, наверно, все на один поезд?

— А тут другие и не ходят, — замечает мужчина с лицом, иссеченным морщинами. — Все идут на Лениногорск. Разве вот только в другом направлении?.. Так те — на Бийск, на Красноярск и идут позже.

— Мне на Бийск, — говорит она. — Долго еще ждать?

Мужчина внимательно смотрит на нее.

— Ищешь своих?

— Ты угадал, гаджо, — подтверждает она. — Да найду ли?

В глазах гаджо блестят лукавинки.

— Быть-то будет, да не так, как в мечтах держишь. Там, где хочешь найти, — потеряешь, где потерять боишься — наоборот, найдешь.

Все улыбаются. И ей как-то нехорошо от этого.

— Жить-то надо, гаджо, — говорит она. — Кормить Пецо нечем. Вот и гадаю.

— А муж?

— Суска? Выслали Суску...

Долго стоит тишина. Потом ее нарушает детский крик. Это ее найко протер глаза. Она дает ему грудь, и он перестает кричать.

— Неужели и он по твоей тропинке пойдет?.. — говорит задумчиво мужчина, глядя на малыша. — Так и вырастет в залах ожидания...

Она не совсем понимает слова гаджо, но чувствует, как в груди растет тревога. И трудно сдержать себя, чтобы не поцеловать лоб и щеки дорогого найко.

— Нет, он будет совсем другой... Хорошо, если бы он стал таким, как ты, гаджо, — говорит она, отрываясь от ребенка.

— Много зависит и от тебя, — замечает гаджо. — Зачем ты едешь на Бийск?

— А куда мне? Ну куда? — говорит она. И добавляет неуверенно: — Разве нельзя там жить!..

— А Марци?.. — напоминает гаджо. Цепкая у него память.

— Марци давно женат, — говорит она с горечью. — На белой чайори.

— Знаешь что? — предлагает он. — Я живу в Лениногорске, работаю там мастером на комбинате по переработке горной руды. Едем со мной, а? Работы у нас — хоть отбавляй. Поживешь в общежитии, а там — квартиру выхлопочем. И Петю, — он показывает на глядящего мимо него найко, — тоже не обидим. Если что — устроим в ясли. А?

— Не знаю, — говорит она. — Ничего не знаю.

В ее голове — мешанина мыслей.

По зданию вокзала опять пробегает дрожь. Это отходит товарняк.

Она выходит на перрон и вдыхает воздух всей грудью. Еще темно, однако звезды словно бы тают. Стал виден горизонт; рельсы выходят оттуда, где горизонт, и оттуда должен выбежать, грохоча, поезд. Скорее бы ехать, слушать торопливый стук колес. Лишь бы не быть в зале ожидания. Лишь бы не быть.

Человек не должен быть долго в зале ожидания. К нему должен прийти его поезд. Обязательно должен прийти и увезти его в новую жизнь.

А до чего это хорошо — жить! Она прямо-таки ощущает на губах привкус предутренней свежести, охватывающей тополя, чувствует всем телом, как приятна эта прохлада каждому листку, каждой веточке, словно сама она — и листок, и веточка. И в душе нарастает что-то такое, что нельзя сдержать и что растапливает ту горечь, которая живет там, где-то на самом дне, уже много лет.

Что же это такое?.. Понять трудно. Она понимает: надо, чтобы прошло немного времени, и тогда все станет ясно.

И с непонятной силой ее опять тянет к людям. Может, потому, что, как бы там ни было, на людях ничего не страшно... Ничего.

В зале ожидания — заметное оживление. Пассажиры собирают свои узлы и чемоданы. Пецо опять заснул. Ему все нипочем.

Рядом, на диване, сидит мастер. Она улыбается ему. Почему не улыбнуться, если человек тебе нравится?..

Она обеими руками поправляет волосы сзади и смотрит в окно. Темнота за ним начинает синеть.

Дежурная по станции равнодушным голосом объявляет, что поезд опаздывает. Но Мими теперь это не страшит — и само ожидание кажется ей обнадеживающим.

Электронная библиотека

Борис Укачин родился в Горном Алтае, в селе Каярлык, окончил Литературный институт им. Горького. Автор более десяти книг стихов, вышедших в свет на русском и алтайском языках, а также двух повестей.
Член Союза писателей СССР.

Борис УКАЧИН

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

На снежном Каракольском перевале
Отца я видел в предрассветном сне,
Он проскакал, не улыбнувшись мне,
Я вслед погнался — кони не догнали.

Пропал за перевалом иноходец,
Но долетает голос на ветрах:
«Я табуны свои ищу в горах...» —
И чуть потише: «Что за мною ходишь!»

И тень отца в тени горы скользнула.
«Не надо, сын мой, не ходи за мной».
И на груди у тени под луной
Кровь красная, кровь темная блеснула.

И снова пенье тихое звучало
И отражалось от горы крутой.
«Ах, мой сынок, ты вырос сиротой,
Ах, мой сыночек», — шепчет он печально.

«Нет, я не умер от свинцовой пули,
И ты меня в погибших не считай,
Приехал я, примчался на Алтай,
Чтобы глаза на родину взглянули.

И ты на Каракольские вершины,
Мой милый сын, дорогу не забудь,
Я здесь пасу полночный свой табун,
Я жив, мои уста и очи живы...»

...И снова к перевалу что есть духу
Лечу скалистой горной стороной
И, чтобы голос услыхать родной,
К ночной тайге прикладываю ухо.

О топот, оглашающий просторы,
И пение в сиянии луны!
«Я здесь пасу ночные табуны», —
Он скачет, раненый, без тропок через горы.

* * *

В сердцах алтайских женщин
серебряный мужчина
в серебряных доспехах
Живет счастливой тенью.
И с детства я ловлю
в блистающих рассветах
Его цветное отраженье.
Я отрок, но мужчина тоже,
Мы схожи!
О женщины-алтайки,
для вас и рук, и губ хранимый пламень,
Для вас,
чтоб ваши губы разгорелись,
как шиповник на ветру.
И если черный день
пожара черного
взмахнет крылами,
Огнем любви вас защищу
и дым с небес сотру.
Мужчины гор!
В сердцах мужчин алтайских
Пылающий,
в поход готовый конь.
Он в дни покоя нам
летающее счастье,
А в черную грозу —
скачи на нем в огонь.
Горянки гордые!
Сегодня,
в мире вихревом,
Вдали от вас
тая тоску и радость,
У вас в сердцах
рассветным заревом
скрываюсь
И раскрываюсь
лазоревым цветком.
И, словно аргамак,
пылающий и ясный,
Из древности
в грядущее, где дышится вольней,

Электронная библиотека Altelib.altlib.ru

Лечу к вам
с ношею
любви прекрасной
И удивленьем
нерожденных дней.

ДОМОЙ ХОЧУ

Домой хочу,
и сердцу нынче нет покоя.
Не в этой комнатной тиши,
а тишиною гор укрывшись,
в горах уснуть.
Как прошлое мое —
серебряное пенье кедров надо мною,
Как прошлое мое —
круженье гор,
в горах туманный путь...
Домой хочу!..
Тут облачко любое,
Листок любой
подарит мне прохладу,
Цветок, склонившийся к ручью,
Усталому
ответит лаской
взгляду,
Коней алтайских жар
согреет дрожь мою.
И языка родного разговор,
Отдавшись эхом по вершинам гор,
Меня излечит от тоски немой...
Нет, я домой хочу,
домой хочу,
сегодня же домой!
А там,
как сказочный, как дикий От-олень
Огонь-траву
нашедший на лугу,
По скалам
легче ветра пробегу.
Как пламенный пастушеский костер,
Я созову и братьев и сестер,
Глухую ночь преображая в день.
Вы знаете ли,
человек вдали
От гор родимых,
от родной земли
Стареет рано.
Угасает зной,
И в мире нет усталости страшней,
И в старости не примирюсь я с ней,
С холодной преждевременной зимой...
Домой хочу,
домой хочу,
сегодня же домой!

ПЕРЕВЕЛА С АЛТАЙСКОГО Н. ГОРБАНЕВСКАЯ.

Электронная библиотека Alib, elib.altlib.ru

Николай Лактионов родился в 1947 году в селе Подстепном Ребрихинского района. Учился в Горно-Алтайском пединституте. Работал трактористом, токарем, молотобойцем, сотрудником районной газеты. Сейчас живет в Ребрихе, работает бетонщиком.
В альманахе печатается впервые.

Николай ЛАКТИОНОВ

* * *

Мне двадцать пять...
Что ж, говорят, немало.
Вот четверть века стала позади,
и за моим за первым перевалом
мои отпулеметили дожди.

Пусть по утрам,
безумственно ликуя,
руладствуют вовсю перепела,
уже так близко-близко до Июля,
уже давно Сирень поотцвела.

Но видно с невысокого откоса,
как на поля выходят трактора.
Июль в деревне — время сенокоса,
июль в деревне — жаркая пора.

* * *

Я не казню себя
жестоко
за поздний взрыв моей
строки,
за то, что сверстники
далеко
ушли вперед, на
большаки.
Я с детства помню,
как усталый
печник, что славился у нас,
твердил:
«Что долго нагревалось,
то и остудится не
враз».

* * *

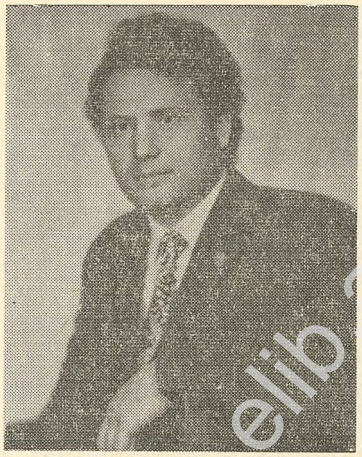
Всякое в жизни
случается.
Многое — видится,
что-то не замечается.
Вот и соседка моя
оторчается:
рано женился я.
[Тоже случается].
А вот сегодня соседка
венчается.
Горько мне.
Всякое в жизни случается.

* * *

Юность. Тут все мы есенимся:
мечемся,
спорим,
грустим,
брагой домашнею
пенимся,
что нам еще молодым.
Время. Душой постыли мы,
если без лишних прикрас,
манит и манит к Мартынову,
как к неизбежности,
нас.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Валерию Извекову 29 лет. После окончания факультета журналистики Уральского университета он работал на радио в Красноярском крае, был корреспондентом Кемеровской областной газеты «Комсомолец Кузбасса». Сейчас старший редактор Алтайского телевидения.



Валерий ИЗВЕКОВ

ЕВДОКИИНО СЧАСТЬЕ

РАССКАЗ

Евдокия выглянула в окно теплушки. Холодный ветер резко ударил в лицо, рванул выбившиеся из-под платка волосы. Внизу, под полотном, лежал небольшой поселок. На окраине его дымился черный террикон. Евдокии уже надоело ехать. И вдруг поселок, да с шахтой, как у них в Подмосковье.

— Ну, чего там видать? — спросил усатый солдат в выгоревшей шинели, похожей на мешковину. Ехидный мужик. Всю дорогу смеялся над Евдокией: мол, баба как баба, а умишко детский. — Нашла Дуська свой город?

— А тебе какое беспокойство? — снисходительно ответила. — Тебе бы подковырнуть... Видать, жена без тебя рада-радешенька, — глянула с вызовом.

— Ну нет, жена у меня — поискать таких надо. Не как ты со своими сказками. Счастья поехала искать! — опять поддел он ее, усмехнулся.

— А что ж, — ответила Евдокия, — каждый свое счастье ищет, у каждого оно свое, счастье-то...

И вдруг подумала: «Господи, чего это я перед ним душу вывернула. Он же дальше себя не видит. Другое дело — человек с понятием, а этот только и умеет усмешки строить, а сам-то — видать птицу по полету... Война вон уже кончается, а у него на гимнастерке хоть бы медаль какая. Другие едут, все орденами блестят». Отца вспомнила. Прошлой осенью за двух офицеров, взятых под Белгородом, орден получил. А ведь старик уже, под шестьдесят.

Она хотела высказать все это солдату, но что-то ее удержало: уж больно обидными были бы ее слова.

Поезд остановился напротив вокзала. Около него толкались тетки в меховых барястиках с опушкой, в больших цветастых шалях, торговали варенцом. Бойцы выскакивали из теплушек, сгребали банки и бутылки охапками, продавщицам помоложе обещали вернуться и приголубить. Она тоже постояла около торговок, пошарила в кармане. Денег только на варенец и хватало.

«Ладно, карточки получу, потом уж. Еще не примут на работу, ехать дальше придется». А куда дальше-то, и так заехала за три тыщи верст...

Она направилась к террикону, там должна быть шахтная контора. По обеим сторонам дороги стояли невысокие дома, по окна занесенные снегом. Надо же, из Москвы уезжала, листья падали, а здесь снегу навалом. И вроде ехала недолго. Вот ведь какая перемена. А в Крыму где-нибудь еще тепло и цветы цветут.

— Ты чего это? — спросил начальник

шахты, разглядывая ее документы. — Война на запад движется, а ты на восток едешь. Думаешь, тут жирней живут? Не-е, война для всех одна. Муж-то воюет, поди?

— Незамужняя, — коротко ответила Евдокия. Он поковырялся в документах, посчитал в уме, получилось тридцать два года, потом с любопытством посмотрел на нее и, будто поняв, почему не замужем, сказал:

— Ладно, пойдешь в табельщицы.

Первые дни в новинку еще ничего было. А потом. То ли зима пуржливая была, то ли от того, что одиноко Евдокии, тоска такая взяла, что она каждый вечер плакала. Придет с работы, сядет на койку и ревет. Точно жизнь уже закончилась и никакого просвета дальше не будет. Все знакомые в Подмосковье остались, а тут и холодно, и голодно, и люди все чужие... И уж совсем она пала духом: зачем ехала, кто ей нагадал, что будто счастье свое найдет она далеко от родных мест? Может, солдатик тот вагонный и прав: детский умишко?

После, когда письмо от отца получила, немного успокоилась. Писал он, что в госпитале был, рана ерундовая, и теперь он снова в строю. Про мать, покойницу, вспоминал Спрашивал, не вышла ли Евдокия замуж. Веселее стало Евдокии, да и с женщинами понемногу прижилась, хоть поговорить с кем было.

И на смену слезам пришло какое-то беспокойство, ожидание чего-то хорошего, и вера в себя появилась.

Раз в коридоре жилица костерила комендантшу общежития за белье — полтора месяца не менялось.

— Да постыдись ты! Три бабы живут, неужели и на вас стирать нужно. Поди, руки не отвалятся, если сама постираешь.

— А ты с мое на шахте поворочаи, тогда и рассуждай. Это твое дело — стирать.

«Батюшки, — ахнула Евдокия, — из-за чего крику! Это ж надо дойти, чтоб полтора месяца на грязном спать. Руки бы поотсыхали... Спасибо комендантше, хоть угля привезла, вон какая гора у подъезда. Ну прямо стыд стирку требовать».

Женщины затихли, а Евдокия долго не могла сообразить, чем заняться. Стала оглядываться на дверь, словно вот-вот кто-то должен войти, забеспокоилась.

Вдруг ее взгляд упал на окно. Оно замерзло так, что ни единого просвета, точно в раму вместо стекла вставлены ледяные плиты с пушистым инеем. Сквозь него угадывались какие-то сказочные рисунки — причудливая снежная трава: то ли лист папоротника, то ли стрельчатая осока или еще какое-нибудь странное растение, которого и в жизни-то нет. Вроде бы иней должен ровно нарастать, а откуда берутся такие картины, Евдокии было неясно. Да вот хоть снежинку взять. Другой раз попадет на рукавицу. Резная, будто ювелир изо льда сделал.

И вообще, вот такое дело. Как же это с голубого неба падает белый снег? Вроде голубым ему быть или хотя бы серым, как те тучи, что стряхивают его. Умом понимала: все правильно — замерзшая вода. Но тут опять разлад получался. Вода прозрачная, а как в лед превратится, то какая-то мутно-зеленая. Земля черная — подснежники белые, трава зеленая, цветы красные, синие, желтые, а черных нет. Озеро прозрачное, а пуховалки в камышах коричневые.

Раньше подружки звали ее блажной. Сами шли на свидания с парнями и ее брали, не опасаясь соперничества. А у нее и интереса-то не было: ходит по лесу, цветы разглядывает, или бабочку поймает, смотрит, как у нее крылья трепещут и откуда в них сила берется.

Но в этот вечер мучило Евдокию что-то раньше неизвестное, знакомое лишь по рассказам подруг. Какое-то предчувствие настолько усилилось, что начала ходить по комнате, нервно перебирая рюши на платье, все причесывала длинные соломенные волосы, глядясь в осколок зеркала, прислушиваясь к шагам в коридоре, разжигала в печи сырые дрова и не могла разжечь, потом снова ходила по комнатной клетке, и сердце ее томилось от какого-то непонятного ожидания. А то садилась перед зеркалом и рассматривала свое лицо. Волосы были вроде ничего, а вот глаза, нос, губы не нравились. Она взяла из печи уголек и провела по бровям, посмотрела. Появилось что-то новое. Глаза вроде стали глубже, смотрели на нее издалека, то ли злые, то ли грустные. Но все равно уже не такие, как раньше.

И вдруг она рассердилась на себя: «Что это я прихорашиваюсь, как перед свадьбой? Какой родилась, лучше не

будешь». Подошла к рукомойнику и стала ожесточенно смывать с бровей уголь. И впрямь ерунда выходила. Мужик подошел, а она уже черт знает что навыдумывала. Да и разговор-то был всего в пять слов.

После смены бригадир Анатолий Шебекин отозвал ее.

— Ты, Евдокия, по вечерам-то дома? Мне бы поговорить с тобой...

— А где же мне быть? — Она покраснела, будто бригадир в чем нехорошем ее заподозрил, и поспешно добавила: — Конечно, дома, Анатолий Иваныч.

Шебекин еще раз пристально поглядел на нее, бросил окурок, долго мял его каблуком сапога, словно решая: говорить — не говорить. Неловко сказал:

— Так я зайду к тебе?

— Конечно, конечно, пожалуйста. — Она смешалась, вспыхнула, забыла и спросить, зачем он собирается.

Нравился ей Шебекин еще с того дня, как в первый раз увидала. Даже жалела его, зная, что ранен он был на Ханке, потому и на фронт не взяли. И часто Евдокии казалось, что и он на нее внимание обратил. Мало ли женатых без счастья живет.

«Да ну, — обрывала она себя, — у него жена вон какая красивая, разве я ему интересна. Почудилось мне. Может, по делу хочет поговорить. А какое у нас с ним дело? Ни я его не знаю, ни он меня».

А сердце подсказывало: придет он этим вечером, бригадир Шебекин, и будет этот вечер каким-то особенным, решающим в ее жизни. Она ждала. Беспокоилась. И боялась. И вот часу в восьмом в дверь тихо постучали. Она встрепенулась. Враз ослабшая, с трясущимися руками подошла к двери, отперла. В коридоре, держа две головки сахара на большой ладони, неловко улыбаясь, стоял Шебекин...

...Он сидел напротив и курил. Потом рассказывал разные истории про себя, пытался рассмешить ее. А Евдокия, будто все жилы ей связали, сидела, как деревянная, молчала, рассеянно слушая его, и ждала — вот-вот скажет он долгожданное слово. Но Анатолий, поняв, что не выйдет разговора, да и не готов он к нему, резко встал и направился к двери. Она, обеспокоенная, тоже поднялась, отошла к печи. Только теперь уже почему-то стало страшно стыдно, будто подлость кому-то сделала, ждала объяснения, а не дождалась. Да и не за тем, видно, Анатолий пришел. А зачем же тогда? Ведь поговорить и на шахте можно. Уши загорелись, Евдокия прикрыла их волосами, в душе нарастало смятение. Неужели он так и уйдет? Анатолий оглянулся, посмотрел на нее. Она хотела перехватить его взгляд, но он смотрел куда-то мимо нее. Подошел к вешалке и в нерешительности взялся за пальто. Не оборачиваясь, глухо и принужденно сказал:

— Завтра-то на работу придешь?

Евдокия вопроса не ожидала. Да и не думала, что так вот выйдет: вроде на какое-то собрание приходил — хоть и неохота, а идти пришлось. Она аж в лице изменилась.

— Как же... Анатолий Иваныч... конечно, приду... — И вдруг закрыла горевшее лицо ладонями. — А вы-то... вы, Анатолий Иваныч, неужто только за тем и приходили, чтобы спросить, приду ли на работу? — сказала она и вовсе испугалась.

Шебекин оторопел, с удивлением глянул на нее и вдруг шагнул и положил ей руки на плечи.

— Чудная, со злобой, что ли? Глянешься ты мне. Давно уж приметил тебя...

У Евдокии навернулись слезы. Упала ему на руки, и ни уговоры, ничто другое не могло умерить захлестнувшего ее счастья.

Значит, не такая она некрасивая, значит, есть в ней то, что может нравиться, но откроется не каждому. А вот он открыл. Значит, и она может быть любимой! И уж потом, позже, одумавшись, открыла для себя и нечто горькое, непреодолимое: он ведь женат, у него ребенок. Стало быть, осиротит она парнишку.

Шебекин закурил, долго молчал, какой-то отчужденный и злой. Потом сказал:

— Как бы тебе объяснить, Дуся... Не люблю я жену. Саньку жалко.

Но она не захотела слушать никаких объяснений, прервала его:

— Да ладно, ладно, я ведь думала, простое что-нибудь. Я и так тебя любить буду. Мне никого не надо. Я ведь некрасивая. А ты, значит, понял, что и в некрасивых тоже душа есть.

Шебекин смутился.

— Да ну тебя, Дуся, говоришь вся-

кое. Разойтись я могу. Но пока нельзя.

— Что ты говоришь-то, — радостно улыбнулась она, — мне-то что. Не смотри, что такая дурочка, я ведь тоже могу понимать. Мне лишь бы ты был.

Ему совсем неловко стало. Видно, никогда таких слов от женщин не слыхивал. На душе сделалось легко, как будто после пыльной дороги к чистому озеру подошел. И в голове все ясно стало. Прилив нежности повлек его к Евдокии. «Чего она себя некрасивой называет? Глаза добрые, серые, и ямочки на щеках. А волосы тоже. Золотистые такие. Наговаривает на себя.»

Размышлял Шебекин, шагая по темной заснеженной улице к своему дому. Он все спрашивал себя, чем же так приворожила его Евдокия, а ответить не мог. Что-то в душе хорошее появлялось, когда про нее думал. Конечно, Настасья куда лучше лицом. Да и так вроде человек как человек. А вот не задалась у них жизнь. Капризы какие-то, обиды. И так — по пустякам. Только наладится дело, как что-нибудь снова все нажитое разбивает. А тут еще вот-вот второе дите появится... Сына он любил. Вся радость была в нем. Ну, а теперь еще вот негаданное... с Евдокией. Смеялся поначалу над собой: мол, любовь в тридцать пять открылась. Смешно не смешно, а к Насте такого даже в лучшие их времена не было. Уж недели две, как перешел в другую комнату от жены. Настасья заметила, что не в себе муж. Подошла сначала с усмешкой.

— Толя, чего это ты ушел? Мне и поговорить не с кем. Весь день и ночь одна.

— Сама же говорила, что тесно тебе, — буркнул Анатолий.

— Совсем ушел, что ли? — спросила она.

Он не ответил. Но и не вернулся в эту ночь к ней, не мог пересилить себя.

* * *

На этот раз жена встретила его молча. Он снял пальто, сапоги, ожидая, что она скоро уйдет спать. Но Настасья стояла в накинутой на ночную рубаху большой шали и испытующе смотрела на него. Спросила, наконец:

— Ну, как поработалось?

— С чего это ты спрашиваешь? — насторожился Анатолий, уверенный, что она не может знать, где он был. — Вроде не замечалось за тобой интереса к моей работе.

— А с того, бесстыжая твоя рожа, что ни на какой работе ты не был! Я вечером у Бурматовых была. Николай-то дома. Или он не в твоей бригаде?

— Где бы ни был, не твое дело. Целый вечер сидеть тебя слушать, что ли? Только и ноешь.

— Куда ходил, спрашиваю? — взвилась она.

— Уж раз тебе надо это услышать — по бабам.

Она недоверчиво покосилась на него и как-то сразу успокоилась. Раз сам открыто говорит, значит врет. Жена постояла еще с минуту и ушла к себе. Всхлипывала громко, гремела чем-то, ждала, наверно, что он придет, утешит, повинится. Но Анатолий и на этот раз не мог себя переломить.

Он сидел на кухне, в голове было путано, мысли разлетелись, как пчелы из улья. Одна только где-то зацепилась. И сразу все прояснила. Тянула его к Евдокии вот такая хитрая штука. С ней разговариваешь и чувствуешь, что завтра будет день, и послезавтра, и надолго вперед. С другими говоришь, знаешь, что это только сегодня. С ней какая-то вера, что ли, появляется. Жить светлей. Домой приходишь — все вчерашнее: и жалобы Настасьины, и разговоры про одно и то же. Санек лишь что-нибудь новенькое выкинет.

Анатолий вспомнил, как улыбалась ему Евдокия, и вдруг поймал себя на том, что Евдокия заняла теперь главное место в его душе, вытеснив все остальное. Вот как.

Долго не могла заснуть в ту ночь и Евдокия. И стыдно было, что приходится от людей таиться, и радостно от того, что пришло к ней, наконец, желанное счастье. Как будет дальше, неважно пока. Образуется со временем. Главное, что дождалась. А потом будет хорошо. Она счастливо улыбалась в полусне.

Вспомнилось совсем давнее. Мать еще молодая была. Ехали они на бричке. Дуня лежала на свежем душистом сене, только что скошенном, и смотрела в небо. Дорога гладкая и пыльная, так что бричка ровно шла. Она загляделась и не заметила, что едет уже не ногами вперед, а головой. Посмотрела на мать. Все в порядке. Как ехали, так и едут. Перевернулась, стала смотреть сквозь

травинки на дорогу. Та будто на нитки разделилась, бежала быстро. И вдруг то же самое снова случилось, словно бричка задними колесами вперед едет. Испугалась, вскочила, тяжело дыша. Мать обернулась.

— Ты чего, дочка?

— Мама, а там ящерка под колесо попала, — почему-то соврала она.

Евдокии снова стало неловко, как каждый раз, когда об этом вспоминала. И помнила все время, а матери не созналась даже после, и объяснить себе, почему так в бричке случилось, до сих пор не смогла. Спрашивать не решилась: вдруг что-нибудь...

Потом лес вспомнился, душный от многотравья. Она уже одна, подруги замуж повыходили, не до нее. А у Дуси с замужеством не получалось. Раз подкулачник какой-то сватался. Она смотрела на все это сватовство, и до того смешно стало, что убежала в лес, упала на поляне и принялась распевать песни. В лесу звонко, голос далеко летит и где-то высоко в небе теряется. До вечера ходила, полный платок клубники насобирала. Домой веселая прибежала. Смотрит, отец хмурый на крыльце сидит.

— Что случилось, папа? — кинулась она к нему.

— Мать захворала. Зря ты вот так-то. Из-за тебя слегла. Этот пес всякого наговорил, она и расстроилась. Вишь, как оно обернулось.

«Ох, мама, мама, — подумала Евдокия, — виновата я перед тобой. Но если б видела ты, как сейчас мне хорошо, простила бы, наверно. Какой человек попался! Вот бы посмотрела и порадовалась. Только женатый он, я, наверно, плохо делаю».

Слезы сами навернулись на глаза. Она тихо поплакала. Вскоре на душе, словно после теплого летнего дождя, прояснилось, и Евдокия заснула. И приснилось ей, будто опять она маленькая, и едут они с матерью на телеге по душному от разнотравия лугу, смотрит Дуня, а зеленая ящерица скользит в траве, но Дуне вовсе не страшно, знает — не попадет ящерка под колеса...

Как в добром, счастливом сне прошел еще месяц, и наступил март. Солнце, словно спохватившись, стало щедро раздаривать свое тепло направо и налево. То и дело с крыш рушились сосульки. Черный от угольной пыли снег оседал быстро, и поселок подрастал с каждым днем. В голубых от неба лужицах на дороге базарили воробьи. Потеплели лица людей. Чаще они освещались улыбками, скупыми, со скорбинкой. Но главное — оттаивали сердца от добрых вестей с фронта. Наши освобождали город за городом. Последнее письмо от отца пришло уже почти из Белоруссии. Евдокия отвечала, что скоро выйдет замуж и жаль, что он не сможет погулять на свадьбе. В последнее время Евдокия прямо расцвела, даже на работе перемены в ней заметили и все допытывались, с чего бы это.

В тот вечер она не ждала Шебекина, он уходил в ночную. Только вернулась с работы, переоделась, как постучали. Обрадовалась, подбежала, а когда открыла, радость словно волной смыло. Настасья... Глянула на Евдокию, как на пустое место.

— Господи, нашел же! Ни кожи ни рожи!

— Вы проходите, — сдавленно сказала Евдокия. — Услышат же, кругом люди...

— Ага, людей боишься!.. А я не боюсь, мне нечего бояться. Пусть слышат, — закричала Настасья. — Шлюха ты, змея подколодная! Не придет больше Анатолий, велел передать. Нужна ты ему, дрянь поганая! Я у него жена. А ты так... для развлеченья мужского... — захохотала нервно, видно, и ей стоило немало сил высказать все это.

Евдокия сжалась в комочек, словно пришибли ее эти страшные слова, придавили своей тяжестью. А Настасья, выпустив обойму этих слов, удивленно посмотрела в Евдокиино лицо и обессиленно заплакала, всхлипывая так, словно в гулком коридоре кто-то трет веником по бачку из-под воды.

— Пожалуйста, уезжай отсюда. Прошу тебя. Дети просят.

— А куда я уеду? Некуда ведь, — неуверенно сказала Евдокия.

— Ну я прошу тебя, — со слезами в голосе повторила Настасья. — Неужели нельзя сделать для человека? У меня скоро второй будет, а ведь ты же простая. Уезжай, ради бога! — Вдруг она снова сорвалась на визг, и Евдокия только отмечала в мозгу: — Дрянь... шлюха... тварь... не достанется он тебе...

А когда подняла глаза, Шебекиной уже не было. Голова разламывалась. И слезы лились, как ливень после засушливого

лета, обильно, но без пользы. Значит, не быть ее счастью, значит, не вышло... Зря только отцу про свадьбу писала. А что Анатолий сам отказался, не поверила. И ни за что не поверит.

Наутро посмотрелась в осколок зеркала. Под глазами мешки, кожа на лице обвисла, заострился нос... Чисто старуха.

На работе ни с кем не разговаривала, сидела насупленная. Когда кто-нибудь подходил, спрашивал, отвечала односложно. Шахтеры удивлялись, пытались подшутить, но замечали ее глаза, умолкали и тихонько отходили.

Перед обедом прибежала Физа Бурматова и злорадно бросила:

— Акульшина, тебя секретарь зовет, Мокрушин.

Она не знала, зачем мог позвать ее парторг, но, уже поднимаясь к нему, догадалась, что Настасья и здесь побывала.

Степан Ильич Мокрушин был человеком добрым, хотя в черном своем кителе с заправленным за ремень пустым левым рукавом производил впечатление суровое.

— Садись, Евдокия, — дружелюбно пригласил он. — Ну, как у тебя дела на работе?

— А что? Делаю все как надо, — встрепенулась Евдокия.

— Да нет. Про работу твою я знаю. Но вот в личной жизни у тебя... Я ведь понимаю — любовь. Но как же ты к женатому, а? Ведь вот у него один сын есть, не сегодня-завтра другой родится. А у тебя — любовь. Давай договоримся, чтоб твердо было: я еще с ним побеседую, а ты, Евдокия, работник добросовестный, будь и в личной жизни выше своих желаний. Время вон видишь какое, а вы тут... Отступись ты от него. Значит, договорились?

Где была после смены, Евдокия не запомнила. По кладбищу вроде ходила, еще где-то. Когда ноги привели ее все же к общежитию с темными, как дыры, окнами, от забора к ней направился человек. Поначалу это испугало, вдруг Настасья кого подговорила, но через секунду с болью и радостью узнала Анатолия. Значит, нет, не конец их любви, значит, он любит... И тут же резкая, как шахтная сирена, мысль мелькнула в голове: может, проститься пришел, а я, дура, обрадовалась.

— Ты где же так долго была? Я уж часа полтора тут. Хорошо, хоть тепло. В дверь торкнулся — тихо.

Он волновался, говорил торопливо, сбивчиво, будто боясь чего-то недосказать. Прикурил от недокуренной папиросы новую, помолчал, собираясь с мыслями. Папиросный огонек, разгорающийся при очередном затяге, высвечивал испуганные глаза, скованные стыдом и неловкостью.

— Мокрушин вызывал, — неуверенно заговорил он, — мол, вы договорились. Правда это? Отступаешься от меня?

— Да ты что, Толя? Неужели он так сказал?

— Конечно, — протянул Шебекин, еще не уверенный в том, что не отвернулась от него Евдокия.

— Вот сыч хитрый, — усмехнулась она. — Ничего я ему не сказала. Как же я брошу-то тебя? Да ни за что. От счастья своего отказываться? Нет и нет. Знаю же себя, — беспокойно шептала Евдокия, а сама с интересом наблюдала, как внутри что-то резко разжалось и по телу стало разливаться тепло. «Отошло, — подумала она. — Слава богу, не прощаться пришел».

— А я ведь насовсем к тебе, — неожиданно сказал Анатолий. — Принимаешь?

Она задумалась, отвела лицо, хотя и так-то в темноте он бы не увидел на нем ни сомнений, ни борьбы.

— Толя, я вот думала, как мы жить-то будем. Ведь тебе раньше моего плохо будет. Я-то что. А у тебя тут все: и друзья и знакомые. Может, уедем отсюда, а? Хоть в Крапивино, там тоже шахта... Чтоб отсюда только.

— А правильно ведь. Голова ты у меня, — обрадовался Анатолий нечаянному выходу, хотя и сам об этом не раз думал.

— Сегодня оттуда тетка приезжала за мукой для интерната, я спрашивала, можно ли где жить. Она говорит, хоть у нее. Времянка засыпная пустует, немного подремонтировать и — живи.

— Эх, мать честная, молодец! Я только думать, а ты уже сделала да все как надо решила.

— Так я ведь для себя. Все равно бы уезжать пришлось, заставили бы. Думала, не придешь больше. А ты согласен. Как хорошо-то мне, Толя! А ты не думай, я стараться буду, чтоб и тебе тоже...

Только Мокрушину надо сказать, что уезжаем. Он мужик хороший, поймет. С женой-то как?

— Да я уж сказал, ухожу.

— А тетка-то в воскресенье снова на полуторке приедет...

— Ну, это ничего, два месяца терпели, дни-то выдюжим. Пока у Бурматовых переночую. Ты не бойся, Настасье я сказал, чтобы больше к тебе не ходила. А с Мокрушиным я сам поговорю.

Мыслями Евдокия была уже там, в засыпной времянке, в маленьком поселке на берегу Томи. Летом они будут ходить в горы за малиной, в реке купаться, благо, она близко от дома — тетка крапивинская в ней белье полощет, а через весь поселок с бельем ведь не ходят. Пока обоснуются, совсем весна наступит, а там, может, и война кончится, отец придет. А в ноябре-декабре ребенок родится. Это она знала уже точно. Сильнее всего ее Настасьино слово кольнуло — «простая». Не стала говорить, что ждет ребенка, крику и без того хватало.

Вот и близко оно совсем, Евдокиино счастье. И муж любимый, и дите любимое будет. Устроится на работу потом, и такая жизнь откроется — на зависть. Все для них станет делать, чтобы только им лучше. И не надо ей ничего больше, чтобы заботиться постоянно о родных людях, не требуя для себя никаких благ, кроме как всегда с этими людьми быть.

«А иначе какая любовь, — думала Евдокия. — Хоть и разная у всех, но одна. Спокойная такая, тихая. Но не получается ведь. Одни как кошка с собакой, другим будто друг на друга смотреть надоело, есть ты, нет тебя — все равно. Нет, такой семьи не хочу. Надо, чтоб понимание было. Один если что не так сделал, другой без нервотрепки, без крика поправил. Чтоб чувство-то хорошее, которое поначалу, не забить разными ссорами да недоразумениями. Ну и чтобы любовь в глаза не бросалась, а крепкая. А по-другому — это не жизнь».

На душе стало тихо и спокойно. Только где-то в глубине оставалась тревога, которую Евдокия объяснить не могла. Подумала о том, что она идет от войны, от беспокойства за отца, но это не было явной причиной тревоги. Что-то ко всему примешивалось непонятное — вина, что ли, перед женой Анатолия и сыном, в котором он, Анатолий, души не чаял, а вот ведь решился...

«Но почему я виновата? Ведь не заставляла же, не звала, он сам пришел. Я бы и сто лет не сказала. Или я не человек? Ведь не сама же. Ой, что это я? Ведь от Толи, получается, отказываюсь. Как будто перед кем оправдываюсь, всю вину хочу на одного переложить. Да и неправда, будто я тут ни при чем... Неправда. Позвала его, позвала сердцем. И — все тут».

За дверью послышались шаги, Евдокия отпрянула, замерла в ожидании. Кто бы это мог быть? Чтобы большого шума по поселку не было, они с Анатолием решили не встречаться до воскресенья. Нет, обманулась. Кто-то прошел мимо.

Три дня уже прошло. Завтра все решится. Он к Мокрушину ходил, вышел от него мрачный, Евдокия это видела. Но ведь разрешение-то и не обязательно. Сказал же, что собирается уезжать. О чем они с секретарем говорили, лишь предполагать можно. Но, видать, не шибко удался разговор, раз с таким лицом вышел. А может, раздумал ехать да мучится, сказать не может. Нет, вроде не такой Анатолий, сказал бы.

В последние дни Евдокия избегала выходить на улицу. Боялась уговор нарушить. Да мало ли что. Попадется Настасья, опять крик поднимет, будто ножом по сердцу...

Но в этот день насмелилась. Последний вечер ведь в поселке. Завтра они будут уже на новом месте. Бог с ним: что потеряно, то потеряно. Дальше-то ведь тоже жизнь будет, другая жизнь, которую она себе представляла ясно, отчетливо и к которой рвалась всей душой.

Она вышла из подъезда, пробралась мимо большой угольной кучи. Был теплый весенний вечер. Правда, грязь на дороге снова подморозило, и Евдокия подумала, что зря не надела пимы с калошами, в резиновых сапогах было прохладно. «Ладно, — решила она, — похожу недолго, с полчаса. Солнце зайдет совсем, вернусь». Она знала, что смена только кончилась и шахтеры расходятся по домам. Ну и пусть. Ей все равно — увидит кто или нет. Завтра уже никому глаза не намозолит. Она пошла прямо на закат. Солнце висело над подножием террикона, и казалось, что оно осторожно скатывается от его вершины, как большой снежный ком. И вот сейчас он подпрыгнул на какой-то неровности да

так и завис на мгновение. Тут же Евдокия подумала, что и она вот так: жизнь шла ровно, вдруг высоко подпрыгнула, и сейчас неясно — оставаться на той же высоте или опускаться.

Она увидела, как солнце коснулось острого бока террикона и стало медленно проваливаться в черную гору. Вот только краешком наступило на горную грань, а она нисколько не прогнулась, не отодвинулась. Вот еще и еще, потом быстро пошло на убыль, будто террикон, как болото, принялся его засасывать.

Мимо проходили шахтеры. Одни здоровались с ней, кое-кто с кривой улыбкой, другие и вовсе проходили, отвернувшись. А ей было все равно. Прошел Николай Бурматов, у которого эти дни жил Анатолий. Они виделись, потому подошел запросто:

— Ты, Дуся, отойди, к нему жена с парнем пришла. Не надо, чтоб шум был. Так что отойди.

Она посмотрела ему вслед и подумала: а мне-то что, пришла и пришла. Как будто в душе у нее что-то надломилось.

Только сейчас Евдокия почувствовала, как закоченели ноги в сапогах. Вспомнила, что надо еще собрать свои пожитки к завтрашнему отъезду, отдать комендантше, пока не забыла, сэкономленные продовольственные карточки, завтра ведь в суете можно запамятовать, помыть в комнате, прибраться — неудобно же после себя беспорядок оставлять...

Анатолий пришел рано утром. В руках у него был небольшой сундучок, обтянутый дерматином, износившийся на углах. Сквозь дыры просвечивало желтое дерево.

— Ну, здравствуй, Дуня, я готов.

Она обрадовалась, засуетилась, посадила его рядом.

— Толенька, милый, а я уже думала, не придешь.

Он застенчиво улыбался, а она горячо целовала его, приговаривая: «Счастье ты мое! Счастье ты мое!» Ох и горько же было Евдокии, слезы душили, и, казалось, отстранись она от него на секунду, как сразу же разрыдается.

— Дуня, чего это ты? Про счастье говоришь, а будто жалеешь меня, ровно больного. Скажи лучше, когда эта тетка приедет, скоро — нет? А то я еще Николая не видал, на шахту сходить надо, проститься, друг ведь.

— Иди, иди, не скоро еще, после обеда. Она уж прибегала ко мне. Иди, не беспокойся.

Анатолий посмотрел на Евдокию и сказал:

— Я — на минутку.

— Конечно, конечно, — подавляя подступающие слезы и прикрывая глаза, словно от слепящего света, ответила Евдокия.

Он сундучок оставил. Заспешил. Только вышел, и тетка крапивинская — вот она. Горластая да пробойная:

— Ну, готовы? Поехали, что ли?

Евдокия стояла у окна, глядя вслед Анатолию. Он торопливо шел по улице. И она могла бы, если б захотела, позвать его, вернуть, но вместо этого тихо кивнула тетке:

— Поехали. Я готова.

— А как же...

— Поехали, — сердито оборвала тетку Евдокия, боясь сейчас одного — не расплакаться бы, только бы не разреветься... Глянула на сиротливо стоявший посреди комнаты чемоданчик Анатолия, отвела глаза и быстро вышла. Солнце ударило в глаза. И Евдокия отметила про себя: вчера, когда оно закатывалось за террикон, думалось, никогда уж ему и не быть над головой, а вот и опять оно светит...

Владимир Унжаков родился в 1936 году в селе Огнях Усть-Калманского района Алтайского края. Окончил среднюю вечернюю школу. Работал директором Дома культуры, прорабом, мастером производственного обучения в профтехучилище г. Бийска.
Заочно учится в индустриально-педагогическом техникуме.
В настоящее время работает литсотрудником Павловской районной газеты.

Владимир УНЖАКОВ

ПОЛЕ

Уронила зарница
В росы утренний свет.
Загляделась пшеница
В тишине на рассвет.

Ах, какое раздолье!..
Я стою и дивлюсь:
Может, с этого поля
Начинается Русь.

УТРО 22 ИЮНЯ

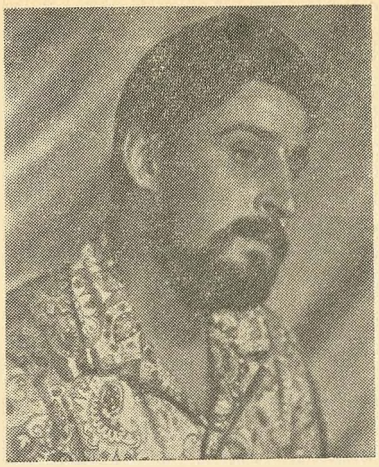
Вставал рассвет,
Ни шороха, ни звука.
Они стояли в пламени зари.
Впервые
Однокласснице-подруге
Шептали губы парня: «Говори...»
Но не решилась
Гордая девчонка
Ему слова «Люблю... тебя» сказать.
А до войны осталось
Ровно столько,
Чтобы его успеть поцеловать.

НА ОТДЫХЕ

Казалось мне: лежу не на траве.
А облака, плывущие высоко, —
Несутся подо мною — в синеве
Зовут меня за горизонт далекий.

И чувствовал я крылья вместо рук,
И радостное ощущенье воли...
А на земле блестел на солнце плуг,
И пахло потом вспаханное поле,

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Юрий Крылов родился в 1947 году в селе Белово Алтайского края. Окончил культурно-просветительное училище. Сейчас работает учителем музыки в одной из школ Барнаула.

Юрий КРЫЛОВ

КОРНИ

Семен Данилович уехал из деревни, из отцовского дома давно, когда был еще просто Сенькой. Вся деревня знала гармониста и песенника Сеньку Тихонова. Пацаном он уже играл на деревенских свадьбах. Хорошо играл, и приглашали его с удовольствием, а когда после семилетки поехал в музыкальное училище, провожать его пришло полдеревни. Полуторка уже пылила к станции, а в ушах Сеньки все еще не умолкали голоса сельчан и родных:

— Вернешься, Сенька?

— Пиши, как там в городе-то.

— Выучишься, сынок, приезжай!

— Ждем! До скорого!

Но «до скорого» не получилось. Надо было догонять сокурсников, пришедших из музыкальных школ, по музыкальной грамоте и сольфеджио, да и баян был для него новым инструментом. Только разноцветные конверты и связывали с домом. Отец в каждом письме напоминал, что его ждут, но если на первом курсе Семен был абсолютно уверен, что вернется, то на втором от уверенности осталось совсем немного, а на третьем он уже окончательно решил не возвращаться. Так, разве что отдохнуть, а насовсем нет — очень уж ему понравилась городская жизнь.

Училище Сенька окончил с отличием и был направлен в консерваторию. После выпускного вечера хотел было съездить домой, но предложили с филармонией поехать на гастроли, и (уже в который раз) поездку пришлось отложить.

В консерватории совсем исчезло свободное время. Педагоги прочили ему большое будущее, и он работал, отдавая себя без остатка любимому делу.

Отец уже не настаивал на его возвращении, хотя в душе, конечно, и надеялся. Семен же о деревне и думать забыл. И только после третьего курса выбрал время и решил съездить домой.

С вокзала до поворота на Улановку доехал на попутном грузовике, а потом — пешком. Вдыхал забытый запах земли, березовых колков, начавшей колоситься пшеницы, и, казалось, грудь расширяется после каждого вздоха. Шесть километров прошагал, ничуть не устав. По небольшому капитальному мосту перешел через речку, отметив про себя, что раньше здесь был переход — с него еще ныряли всегда. На берегу черные от загара ребятишки. Они поздоровались. Семен ответил им, попробовал кого-нибудь узнать, но, никого не узнав, пошел дальше. Поднялся на косогор. Остановился. Наконец-то дома! Не спеша пошел по улице, ступая по пыли, измельченной настолько тонко, что от каждого шага из-

под ноги прыскало вверх белесое облачко.

Семену казалось, что улица совсем не изменилась. Те же ветлы, правда заметно выросшие, те же приземистые домики с прогнутыми, как у только что спрыгнувших с русской печки и потягивающихся после сладкой дремы котов, спинами крыш, даже бревна подле плетня у Дробышевых вроде как те же. Только деда Захара что-то нет. «Да, он ведь еще в прошлом году умер, — вспомнил Семен. — А то, бывало, всегда грелся на солнышке, рассказывая мелкоте выдуманные и настоящие истории».

С Семеном поздоровалась какая-то девушка. Ее, как и ребятишек на речке, он не узнал тоже. А вот уже дом Малышевых. Именно здесь он в первый раз играл на свадьбе, и Семен заулыбался, вспомнив, как дрожали у него пальцы от страха.

Семен подошел к рубленому отцовскому дому. Замысловатые наличники давно уже потеряли свой первоначальный цвет, скворешня от времени почернела, а плетень, словно пьяный, то наваливался на дом, то нависал над самой дорогой. Семен глянул дальше, через плетень, на малинник. Там зеленели какие-то непролазные неухоженные заросли с редкими ягодками.

— Какой малинник был, а теперь... — вслух сказал Семен с горечью.

«Видно, совсем сдают мои старики», — теперь уже подумал он и перевел взгляд на пригон. На крыше темнели остатки прошлогоднего сена. «Помочь надо покосить», — мелькнула мысль. Семен открыл ерзающую по земле калитку, на которой любил кататься в детстве, за что частенько влетало от отца, и вошел во двор.

Из конуры вылез Дикий — лохматый кобель. Семен с опаской подошел к нему, но тот не озлобился, а заюлил у ног, виляя хвостом. Радуясь в душе, Семен подумал: «Надо же! Семь лет дома не был, а он помнит. А злющий какой был. Ведь только меня-то и признавал». Семен улыбнулся, вспомнив, как удирала от Дикого Нюрка Ветрова лет двенадцать-тринадцать тому назад.

На дверях замок. «День субботний, наверное ушли в центр», — подумал Семен, на всякий случай пошарил над дверью — ключ оказался на месте. Сначала это показалось странным, но потом вспомнил — отец писал однажды, что пенсию ему определили маленькую, не хватает на жизнь, вот и решил постояльца взять — фельдшера. Ему, правда, скоро дали казенную квартиру, а теперь, должно быть, еще кто-нибудь живет.

Вошел в избу, и в лицо пахнуло чем-то наполовину забытым: не то кулагой, не то перетомленными щами. Все на привычных, памятных с детства местах — массивные, крашенные марганцовкой рамки с фотографиями, выбитые белоснежные занавески на окнах, фикус в кадушке. Все было таким привычным, что Семену вдруг показалось — вот-вот войдет Митька и они пойдут на речку ловить окуней, будут бросать их в одно ведро, а потом до драки поругаются при дележке, а через пять минут помирятся и пойдут зорить в ригах воробьев. Но никто не зашел, и Семену стало чуточку грустно.

Переодевшись в спортивный костюм, Семен улегся в горнице прямо на пол, на домотканые половики, пестрящие многоцветьем красок и мудреностью узора,— мать славилась своим мастерством ткать. Размеренно тикали ходики, билась о стекло одинокая муха, покой растекался по телу, и Семен не заметил, как задремал.

Сначала пригрезился дед Захар, сидящий на бревнах и мерно постукивающий в такт рассказу резной тростью, потом вдруг Дикий, рвущийся с цепи к Нюрке, потом еще что-то.

Семен не слышал, как пришли отец с матерью, и разбудил его только говор начавшей собираться родни и знакомых.

Когда сели за стол, выпили за встречу и потек степенный разговор об урожае, дождях и прочих хозяйственных делах, Семен шепотом спросил у отца:

— Как же это все так быстро узнали о моем приезде?

Тот ответил ему тоже шепотом:

— Да ты никак, сынок, Ветрову Нюрку-то и не признал? Это она ведь с тобой поздоровкалась давеча на улице.

Семен смущенно промолчал. Оказалось, что не только Нюрку, но и многих других не узнал он, а потому то и дело спрашивал у отца:

— А это кто? А это?

Отец говорил, и в памяти оживали события, связавшие его, Семена, с ними.

Скоро подошло время и пляске. Семен положил пальцы на клавиши своего концертного баяна, и из-под них посыпалась звонкая «цыганочка». Вдоволь наплясавшись, снова сели за стол, и дед Прокопий, поглаживая бороду, сказал:

— Вот чего, Сенька, ты, помница, и на гармонии плясовую здорово играл. Ты бы уважил — сыграл нам чего вас там в канцырватории учат, а?

Семен начал было отнекиваться, ссылаясь на усталость и выпитую водку, но быстро сдался, задумался на минуту, потом мех плавно двинулся и полилась широкая задушевная мелодия. Она то усиливалась, словно приближалась, то затихала, будто удаляясь куда-то, то плескалась звонким ручьем, то растекалась полноводной рекой. Семен играл и внимательно следил за слушателями — все боялся, что не поймут его музыку, но опасения были напрасными. Он видел, что люди то улыбались, то хмурились, то становились просто спокойными и внимательными. Его понимали. Семен кончил играть, и все загалдели:

— Ну, молодец!

— Здорово!

— Не зря, стало быть, на тебя государство деньги тратит. — И перекрывая всех, дед Прокопий сказал:

— А ведь это про наше ты играл, Сенька, а? — И не дождавшись ответа, заключил тоном, не терпящим возражений: — Наверняка про наше!

Потом Семен рассказывал о теперешней своей жизни и весь светился от радости, видя, что им интересуются, расспрашивают, помнят. Ему вдруг захотелось сказать этим людям что-то хорошее, теплое, сказать им спасибо за память. В конце концов уже под изрядным хмельком он высказал свои чувства вслух, помянув, что даже Дикий и то узнал его.

Снова все заговорили разом, не слушая друг друга и не заботясь о том, слушают ли его самого. Семен улавливал обрывки фраз:

— ...ну как же забыть-то тебя, соколик... — курлычет старушка со сморщенным от времени лицом — Семенова двоюродная бабка.

— ...нешто забудешь, как ты к родной тетке, — это тетка Ульяна, — в огород лазил...

— ...ты же свойский парень, какой резон нам... — бубнит дядя Михаил.

И уже без всякой видимой связи с предыдущим сосед Григорий Степанович резюмирует:

— Что верно, то верно! Земля — она завсегда к себе тянет того, кто на ней вырос.

— И впрямь, вернулся бы ты, сынок, после окончания в деревню, женился бы, вон хоть на Нюрке Ветровой, и жил бы припеваючи, — поддакнул отец.

Семен уклончиво ответил:

— Неизвестно еще, как все будет... посмотрим.

Скоро Семена совсем разморило, и он с помощью отца ушел в дальнюю комнату. С горем пополам разделся, лег в прохладную постель и заплетающимся языком проговорил:

— Кобель признал... Завтра хозяйством займемся.

Снова виделись ему давнишние, еще деревенские сны: курносая Нюрка, недозрелые помидоры с теткиного огорода, и еще что-то полузабытое, но бесконечно дорогое.

Когда все разошлись, отец с матерью еще долго разговаривали, сидя на крыльце.

— Надо же, обдумал — Дикий признал его!

— Фантазер.

— Ты ему скажи, отец, что, мол, Дикий наш старый уже шибко, не токмо что на людей не гавкает, а на кошку как на родную близкую смотрит.

— Ладно, мать, скажу.

— Да и не настаивай шибко, чтобы домой возвращался, — у него дорога теперь своя, широкая.

— Ладно, ладно, мать.

Утром принялись разгораживать плетень, и почти все каникулы сын и отец подправляли, подкрашивали, ремонтировали, переделывали. К вечеру первого рабочего дня с непривычки болела спина, саднили руки. Вечером Семен сходил на речку и искупался на том самом месте, где купался когда-то. То вверх, то вниз по течению плыл он саженками, и ему казалось, каждым взмахом руки он переносится все дальше и дальше в детство, а тело наливается могучей силой.

Придя домой, он хотел было завалиться спать, но пришли парни и утащили его на улицу. Дотемна веселилась молодежь. Семен сидел на бревнах и играл. Ему было радостно — он был дома.

Каникулы пролетели быстро.

Семен уезжал на утреннем поезде. Настояв, чтобы его не провожали, на зорьке зашагал к станции. Так же как в день приезда, прыскала из-под ног серая пыль, утренний ветерок путался в ветлах.

Отойдя шагов на сто, оглянулся. Отец с матерью стояли подле еще не успевшей потемнеть на солнце ограды из штакетника и махали ему. Дом улыбался ему заново перекрытой крышей, сверкая голубизной наличников.

Когда Семен уже спустился к речке, сверху кто-то крикнул:

— Сеня!

Семен оглянулся — Нюрка.

— Приезжай, Сеня! — услышал он и сам не зная почему, прокричал в ответ:

— Приеду! — и, круто повернувшись, снова зашагал к станции, больше уже не оглядываясь, хотя и знал, что Нюрка все еще стоит на косогоре и, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрит ему вслед.

Поезд пел свою всегдашнюю, навевающую дрему песню. Семен, лежа на верхней полке, обдумывал — не вернуться ли ему на самом деле в деревню. А что, организовал бы самодеятельность: кружок баянистов там, хор. Да и старики сдают. Ну помог в этом году, а как-то сложатся обстоятельства на следующий? А им день ото дня трудней и трудней жить будет, старость еще никому сил не прибавила. Но впереди был международный конкурс, а потом... Дух захватывало от того, что будет потом: дипломы, зарубежные поездки, слава.

Мало-помалу Семен задремал. Сон был какой-то странный. Издалека к нему, виляя хвостом, бежал Дикий, а подбежав, кусал его и человеческим голосом говорил:

— Не верь ты им, Семен, что старый я и ни на кого не гавкаю, просто узнал я тебя. Ты ведь свой, деревенский.

Семен проснулся. Вагон неторопливо покачивало. Грустно-грустно постанывали колеса.

Электронная библиотека Ахмыловых.ru

Эмилия Ефимова родилась в 1938 году в Барнауле. Окончила Барнаульский пединститут, работала учителем истории в школах Алтайского края, на Украине.
В настоящее время преподает эстетику в профтехучилище в г. Камне.
В альманахе печатается впервые.

Эмилия ЕФИМОВА

БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето. Тепло и привольно.
Только зябок осенний туман.
Только сердцу взгрустнется невольно,
Когда в небе летит караван.

Только грустно чуть-чуть отчего-то,
Почему-то в душе непокой,
Что березы уже с позолотой,
Что осины уже с сединой,

Что ненастьем дымятся предгорья,
Что вспахали на зиму поля,
Что трава пожелтела, и скорбно
За деревней скрипят тополя,

Что вечерняя зорька угрюмей,
Что осеннее небо темней,
Что ночами длиннее раздумья,
Что призывнее крик журавлей,

Что уходит сентябрь, отступает.
Засверкало побольше седин.
И что дочь у тебя подрастает,
И взрослее становится сын.

ЗАМУЖНЯЯ ВДОВА

Жена алкоголика — ты не мадонна
и в ярких полотнах тебе не ожить.
Но ты ведь порою достойна поклона
за то, что тебе довелось пережить.

За горькое мужество — жить виноватой,
при муже живом — оставаться вдовой,
семью сохранять дорогою оплатой,
отца для детей — неокупной ценой.

За то, что обиды и слезы скрываешь
от целого мира чужих и родных,
себя утешаешь, себя убеждаешь
заученной фразой — не хуже других.

Тебе поделиться бы с кем-нибудь надо,
хоть этим бы душу свою отвести.
Ты ж скроешь улыбкой и боль и досаду:
мое наказание — мне и нести.

ЗЕМЛЯЧКЕ В ГЕРМАНИИ

Что, береза, стоишь пригорюнилась,
Опустила листочки к стволу.
Расскажи мне: о чем ты задумалась!
Я тебя не обижу, пойму.

Может, ветер гулял над Калугою,
Запах с русских полей перенес.
Или песня, что пела с подругами,
Растревожила душу до слез.

Или зимушка снегом не нежила,
Не накрыла шубейкой тебя!
А в России теперь все заснежило,
И зовет нас родная земля.

Электронная библиотека АГУНБ, elib.altlib.ru

Александр Дмитриев — человек нелегкой судьбы и редкостного мужества. Почти двадцать лет назад несчастный случай приковал его к постели. Саше было тогда семнадцать лет, он только что окончил среднюю школу.

Но тяжелая болезнь не сломила Дмитриева. Получая консультации на дому, он успешно закончил педагогический институт. Сейчас работает корректором в Алтайском книжном издательстве.

Публиковал в краевых газетах очерки и рецензии. С рассказом выступает впервые.

Александр ДМИТРИЕВ

СОРОК ТРИ... С ТАПОЧКАМИ

РАССКАЗ

Ему около пятидесяти, но он словно утратил возраст, и зовут его просто Митей. Болезнь затушевала его как личность. Осколки подчинили себе все его мысли, действия, желания, и он как бы ушел в себя, жил какой-то скрытой внутренней жизнью.

— Едрена корень! — прорывалось в нем порой что-то вроде возмущения, протеста. — Пятьдесят уж, а все Митя. — Доставал паспорт из коробки «Золотое руно», где лежали еще бумаги и фотографии, которых он никому никогда не показывал. — Вот же сказано ясно как день: Дмитрий Пантелеевич. — И заливался тенористым смехом: — Так Митей и помру, братцы мои, вот помяните мое слово балтийского краснофлотца...

Часто его приглашали на лекции. Это было удобно: на нем одном преподаватель мог показать студентам целый набор классических симптомов и синдромов. Не всякий соглашался выставлять напоказ свои болячки. А ему даже нравилось дотошное проникновение во все детали его болезни и жизни, и он встречал будущих медиков всегда приподнято: хоть и мимолетный, официальный, а все же интерес к его судьбе. Без внимания человек всегда чувствует себя неполноценным и ненужным. Митя же имел на уважение полное право.

— И не надоедат тебе? — спросил однажды сосед.

— А мне с людьми как-то весело, — ответил Митя и залился звонким своим тенорком.

По ночам он прижимался лбом к холодной стене или, уткнувшись лицом в одеяла и подушки, которых у него всегда было вдвое-втрое больше положенного, лежал, стиснув зубы, вздыхая от мучивших его боли и бессонницы.

По правде говоря, он и по сей день удивлялся тому, что остался жив под Ленинградом.

— Я тут по недосмотру, — шутил Митя.

— По какому недосмотру?

— А высшего суда, — рассыпался он смехом. И тут же строжел, серьезно добавлял: — Присудили мне жить — вот и живу...

Мужики не возражали: каждый понимал это по-своему.

Не противились и тогда, когда он десятки раз пересаживал их и менял местами, добиваясь лучшего, как ему казалось, расположения в кадре. Снимки у него получались всегда нерезкие и серые. Не то барахлил подаренный военкоматом к двадцатипятилетию Победы фотоаппарат, не то мешали очки... А может, какое-то младенческое смущение, одоле-

Электронный абонемент АКУНБ, elib.altlib.ru

вавшее его всякий раз в таких случаях.

Иногда к нему подсаживалась разве-селая нянечка Дуся и заводила разговоры про те времена, когда он был еще женат. Он смеялся вместе со всеми ее неприкрытым намекам и горестно восклицал:

— Смеешься, дорогая моя санитарочка Дусенька. А жена-то у меня красавица была. Не то что ты, рябая да конопатая.

Когда стихал хохот, он тихо говорил:

— Погибли ребятки, все погибли. И Анюта моя, ленинградочка, и сынки... А я тут на Красном острове оборону держал. И письма долго еще писал. Их уже не было, а я все пишу да шлю, пишу да шлю...

Мужики, и сами видавшие и хлебнувшие немало, шуршали папиросами, уходили курить.

— А ну вас к дьяволу! — встряхивалась Дуся. — Мужики, а хуже баб. Разжаластятся, хоть реви с имя... Ложись давай, — хватала кого попадя за полу,— отбой уж.

И вот с того времени неведомо откуда на Митиной тумбочке стали появляться банки с компотами, лимоны, кисленькие конфеты, домашние постряпушки, которые он особенно любил. Он принимал все это с молчаливой благодарностью, садился к столу посреди палаты и пробовал всего понемногу, ел, похваливая, а порой шутил:

— Ну чем не жизнь! Да тут и захочешь, дак не помрешь.

...В учебной комнате бело от студенческих халатов и колпаков. Митю и еще двоих разместили на кушетке у преподавательского стола. Слева — таблицы, справа — скелет из папье-маше, прямо— заспиртованный мозг. Резиновый молоточек переходит от одного к другому. Сыплется латынь.

— Обратите теперь внимание на упитанность нашего пациента, — переходит Евгения Владимировна к Мите. — Кроме нашего, неврологического, заболевания, он страдает еще и нарушениями пищеварительных функций, развившихся на почве опять-таки неврологических процессов, первопричина которых — многочисленные осколочные ранения давнего происхождения. Поинтересуйтесь весом больного. Как мы это делаем?.. Вот вы, пожалуйста.

Мини-халатик подходит к кушетке:

— Нужно узнать сначала рост, потом проверить, соответствует ли ему вес.

— Митя... Простите! Дмитрий Пантелеевич, какой у вас рост?

— Один метр и шестьдесят сантиметров!

— А вес?

— Сорок три. — И добавил: — С тапочками...

Когда смеяться нельзя, смех особенно неодолим, и аудитория буквально лопается.

— Вот видите, даже так, — вытирает слезы Евгения Владимировна, неукоснительный блюститель врачебной этики.

В палату Митя вернулся уже не Митей, и тем более не Дмитрием Пантелеевичем, а «сорок три с тапочками».

И каждому новичку теперь рассказывают эту историю, и уже нет в палате тех, кто лечился тут вместе с Митей, нет и самого Мити, которого «подлатали» и выписали до следующих осложнений, а история эта живет, переходит из уст в уста, обрастая все новыми и новыми подробностями, далекими от истины...

Ида Шевцова в 1969 году окончила Бийский пединститут. В студенческие годы опубликовала свои первые лирические стихи.
Работает в Бийске инспектором милиции по делам несовершеннолетних.

Ида ШЕВЦОВА

* * *

Солнце красногрудое,
научи меня
не брататься с грустью
при синем свете дня,
подари весеннего
про запас тепла,
чтобы холод севера
побороть смогла.

* * *

Вокруг такая зелень,
лучей игра такая,
что радуются земли
от края и до края,
и бьют упруго реки,
и нежатся моря —
я с тобой навеки,
любимая земля,
ты мне дана в наследство
от прадедов могучих,
в груди забилась сердцем,
забилась кровью жгучей,
живу твоими мыслями
и пью твои желания,
ощущаю мышцами
силу солнца раннего,
и по завещанию
детям я оставлю
клочок людского счастья,
земли великой тайну
и небольшую книжицу,
тонкую-претонкую,
пропитанную жизнью
и земными токами.

* * *

Березами белыми
земля вытканa,
а солнце все пело бы
лучами-нитками,

играло бы в прятки
с луной-полуночницей,
речные пряди
зеркалило новшеством,

деревья-брошки
теплом ласкало,
травы неброские
под ноги стлало,

а на ночь дробилось
в людские сердца,
чтоб здорово было
звездам мерцать.

* * *

В избушке низкой
на Сибирской
комочек детства
золотушного,
поэтому скромняги
Бийска
я ничего не знаю
лучшего.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Николай Байбуза окончил среднюю школу в Барнауле. Работал бетонщиком, художником в Театре юного зрителя, литсотрудником районной газеты.
Сейчас методист по изобразительному искусству в краевом Доме народного творчества.

Николай БАЙБУЗА

ПРИГОРОД

К нам ЛЭП идет,
шагает с маху
через овраг,
через ручей.
Ей на плечо
совсем без страха
садится местный воробей.
Здесь все изменится,
и скоро!
Пока же здесь
не первый год
сквозь щель соскового забора
подсолнух смотрит на завод.
Отсюда я не без волненья
по жизни бережно несу —
высоковольтное гуденье
и комариный писк
в лесу.

* * *

Е. Скворцову

Синтетика
и там, и тут...
Но шелкопрядам еще долго
жить на земле во имя шелка,
живой обгладывая тут.

В ЛЕСУ

...А просека была
светла —
такая славная примета.
Я опоздал —
исчезло лето,
ушло за синие леса,
ушло за красные рассветы.
Уйду из леса налегке
сквозь строй кивающих мне сосен.
Скромны мои подсчеты —
в кузовке
опята, как цыплята...
Осень.

НАША СИЛА

Великих войн
осели взрывы
пылью...
Но если враг
пойдет на мой народ —
всегда
наш Серп
орлам обрежет крылья,
наш Молот
лапы львам перешибет.

ДОМ

Я строил дом
веселым топором.
Не поддавались
смоляные бревна,
но я тесал их
снова да ладом —
и за венцом венец
ложился ровно.
Звенела сталь
пилы и топора,
дом становился

Электронная библиотека Алтайского elib.altlib.ru

с каждым взмахом выше —
уже вдали
виднелась мне гора
с его покатой
и надежной крыши.
Спустился вниз я
с крыши за резцом,
взял, заточил
на дедовском точиле —
с земли увидел —
небольшой мой дом,
большими в доме окна
получились.
Хотел я дом
заканчивать коньком
(дома всегда
заканчивали ими),
а заодно
и вырезать на нем
свое простое
плотницкое имя.
И в том ли суть
подумал я тогда,
что будет имя
вырезано мною!
Пусть дому будут
судьями года,
пусть безымянной
радует резьбою.
Пусть в январе
в замерзшее стекло
стучит не пойманная мной
синица.
А если будет
людям в нем тепло —
сам в пьедестал
фундамент превратится...

ПРОТИВОВЕС

Работал я
бетонщиком в бригаде,
и пел: «Сегодня мы
не на параде...»
Была противовесом мне
когда-то
тяжелая совковая лопата.
И если бы
меня теперь спросили:
«Откуда у тебя
берется сила?» —
Ответил бы:
«Пока гудят заводы —
верхонки люди носят
не для моды!»

Электронная библиотека СУНБ, elib.altlib.ru

Николай ДВОРЦОВ

СУТЬ

«Суть — сущность, существо, самость, основание, самое главное, важное в деле; зерно, ядро, нутро».
(В. Даль. «Толковый словарь»)

1

Степь имеет не только свое лицо, но и свой довольно строптивый норов. Степняк по рождению, я за многолетнее житье в городе как-то забыл об этом, а степь сразу напомнила.

Уезжал из Барнаула — погода была мягкой, тихой, в воздухе неспешно мелькали крупные снежинки. Но стоило поезду миновать бор, как все начало неузнаваемо меняться. И чем дальше, тем больше.

Снег бурый, смешанный с землей, не находил, бедный, себе места. Ветер беспрепятственно рвал и метал его, гнал по открытому пространству. Небо, низкое, лохматое, не оставаясь безучастным — сыпало снег сверху, и все, смешиваясь, мутнело, будто дымом затягивалось. Порой видимость сокращалась до того, что телеграфные столбы, бежавшие рядом, еле виднелись. И тогда казалось, что день где-то уже в двенадцатом часу переломился — и начинает смеркаться. Но несколько спустя внезапно светлело, видимость улучшалась, обнаруживая шоссейку с сиротливо спешащей автомашиной, лесополосы с навеянными между ними снежными дюнами.

Я смотрел в заляпанное снегом вагонное окно и вспоминал свои поездки в Шипуново.

Первый раз приехал где-то вскоре после войны. Мне, как корреспонденту радио, поручили «осветить положительный опыт весеннего сева». В райисполкоме назвали «благополучный» в этом отношении колхоз, сказали, что он километров за двадцать, но председателя вчера еще вызывали— он должен приехать. И пока он приехал, пока справлял свои дела, солнце пошло под уклон. Однако председатель, искалеченный войной офицер, лошадь не торопил. Добрались уже затемно. Пошли в контору — там было темно, безлюдно, шибало в нос застоялым перегаром самосада. Председатель попытался звать какую-то Матрену, но она не откликалась. «Ну что же, пойдем тогда ко мне», — сказал председатель, и мы долго шли темным молчаливым селом. Дома не очень приветливо, пожалуй даже враждебно, встретила нас жена председателя, бродившая по темной комнате (электричества не было, керосин экономили), как привидение. «Пожевать-то нечего?» — спросил председатель. «Чо спрашиваешь, рази не знаешь?.. Молоко из-под рук ребятишки выпили». — «Ну, тогда воды... — председатель прошел в кухню, зачерпнул ковшом из ведра. — Этого пока хватает. А поедим завтра на полевом стане. Там у нас ничего — варят...»

Второй раз я приехал года два или три спустя. Приехал к Федору Митрофановичу Гринько, известному тогда на всю страну председателю колхоза.

Июньское солнце палило нещадно. Оно, кажется, задалось целью сжечь все живое. Листву деревьев будто кипятком ошпарило. Трава жухла. Пруды на глазах усыхали. А главное — горел хлеб. А он так нужен был стране. Нужен потому, что люди с кануна войны еще не ели его досыта. И потому кто-то, желая спасти посевы, отдал команду, граничащую с отчаянием: «Поливать посевы! Возить и поливать!»

Мы стояли группой у края хлебной полосы, смотрели, как по шлангу бежит из автомобильной цистерны вода. А пересохшая земля, как человек в агонии; ей уж не до воды. Агроном почеркал на листочке и назвал огромное количество тонн, которые потребуются на один гектар посева. «А я что? Сразу сказал — шилом моря не нагреешь. Дождя бы... Окладного... На сутки...» — Федор Митрофанович с досадой посмотрел на белесое раскаленное небо...

Прошло с тех пор два десятилетия. И вот я снова в Шипуновском, в одном из крупнейших районов края. Знакомые и незнакомые места. Новые люди. И у меня такое чувство, будто я приехал сюда впервые.

2

Райком партии и райисполком оказались тоже в новых кирпичных зданиях. А в том, старом, деревянном, где они раньше размещались, теперь детсад.

Тут же на площади — Дом культуры, кинотеатр. Здания красивые, добротные. Строится

жилье, закладывается здание новой средней школы.

В февральские дни Шипуново навещали делегации. Секретари партийных организаций хозяйств, работники райкома партии и райисполкома, редакции газеты то одного района, то другого желали ознакомиться с жизнью и делами шипуновцев. Их встречали радушно, все показывали и рассказывали. Гости смотрели и слушали, а после, в гостинице и в столовой, завязывались горячие разговоры, споры. Одни, движимые, похоже, сознанием того, что и они тоже не лыком шиты, скептически цедили сквозь зубы: «Ничего особенного... У нас тоже...» Другие возражали: «Нет, братцы, тут же во всем четкая система. Все к одной цели направлено...»

Под конец состоялась встреча с первым секретарем. Василию Тимофеевичу Христенко под пятьдесят, он сух, строго подтянут, чисто выбрит: на лацкане черного пиджака поблескивает звезда Героя Социалистического Труда. Гости переглядываются: поскромничал секретарь райкома, не надел всех наград, а их у него много, трудовых и боевых, — Василий Тимофеевич полный кавалер орденов Славы. И почему-то приходят на память слова песни: фронтовики, наденьте ордена... Впрочем, сегодня ведь не праздник, не торжество, обычный рабочий день, и секретарь райкома выглядит приветливо и деловито. Смотришь на него и невольно думаешь: «Боевая готовность номер один. Лук, изготовленный для стрельбы...»

Василий Тимофеевич сказал:

— Мне тоже приходилось бывать в делегациях. Тут, кажется, важно, как себя настроить. Главное ведь в том, чтобы извлечь для себя пользу, заметить такое, что подтолкнуло бы мысль, родило инициативу... А пятна — они везде есть, даже, говорят, на солнце...

— Расскажите о «еже», — попросил районный редактор. — Как это родилось и какой эффект.

— О «еже»? — Василий Тимофеевич улыбнулся, помолчал, собираясь с мыслями, и начал рассказывать, поначалу сухо, скучно, но затем, увлекшись, вдавался в любопытные подробности.

В Шипуново, как и во всех районах края, много внимания уделяют организации социалистического соревнования, действенности его. Есть штаб, который систематически подводит итоги, поощряет передовиков. А как быть с отстающими? Их ведь тоже надо как-то отмечать. Вспомнили доски показателей, на которых хозяйства, в зависимости от успехов, размещались на самолетах, паровозах, конях, черепахах. Вспомнили о рогожных знаменах для нерадивых. Возвращаться, повторять старое не хотелось. Вот так и родилась мысль о «еже». А что? Ведь неплохо, кажется? Разработали статут — кто «заслуживает» «ежа», как он вручается и как от него следует избавляться. «Ежа» заказали в «Сельхозтехнике».

Мастера постарались — «еж» получился на славу. Весит около пуда. Только слава-то незавидная — получить «ежа».

Летом прошлого года, в самый разгар хлебной страды, штаб присудил «ежа» отделению одного из совхозов. Только собрались вручать — Новосибирская кинохроника тут как тут. Управляющий отделением с агрономом перепираются: один, говорит, ты принимай, другой — ты, твои, мол, «еже». И тот и другой увертываются от объектива кинокамеры, лица ладонями прикрывают. Но хочешь не хочешь, а получить пришлось — заслужили.

Определили «ежа» в укромный уголок, но слух уже пошел. Назавтра детвора из детсада организованным порядком нагрянула, за ними — не менее любопытствующие старухи. «Другим — вон знамена почетные, премии, а нам — колючку. Достукались...» И не было покоя до тех пор, пока не избавились от «ежа». А избавиться от него можно лишь одним способом — трудиться рук не покладая, делать дело на совесть.

Василий Тимофеевич посмеивается, говорит: это ведь важно, очень важно — разбудить совесть у тех, у кого она задремала, чтобы, наконец, каждый из нас понимал, что главная твоя задача — быть впереди. А то ведь некоторые рассуждают так: не всем быть впереди... Верно. Не всем. Но стремиться к этому должен, обязан каждый. В этом смысл социалистического соревнования, в этом — суть нашей партийной работы. И потом, не надо думать, что если сегодня человек отстающий, так уж и списывать его надо со счетов — плохой, мол, недобросовестный и так далее. Надо разобраться, понять, почему тот или иной человек, а то и целое хозяйство отстает, докопаться до корней, помочь отстающему поверить в свои силы... Сегодня он отстающий, а завтра передовой. Вот что главное. И об этом надо помнить всегда.

3

Позже, когда мы остались вдвоем, Василий Тимофеевич как бы между прочим заметил: а еще очень важно жить не только сегодняшним днем, завтрашним, но и вчерашним... Да, да, вчерашним. Без прошлого нет будущего. И посоветовал мне познакомиться с учителем Ильей Яковлевичем Фомченко, сказал, что знакомство это на многое мне откроет глаза, поможет лучше понять район, людей района... И вот я в гостях у Фомченко.

Илья Яковлевич преподает историю в средней школе. Но история для него не просто специальность, а призвание, увлечение, цель жизни. В квартире Ильи Яковлевича господствуют книги, в основном исторические. Познания Ильи Яковлевича обширны, а прошлое и самого рабочего поселка Шипунова и всего района в его памяти, как вчерашний день.

Фомченко и привел меня к деревянному особнячку, в котором недавно размещалась одна из районных контор, а теперь, как сообщала вывеска, — районный музей. Фомченко — весь штат музея, да и то почти на общественных началах. И я, признаться, многого увидеть не ожидал. Что, думаю, там может быть такого? Илья Яковлевич тоже был несколько, кажется, смущен. Подталкиваемый в бок хлестким ветром, он говорил так, будто заранее извинялся: комнат в домике немного, размер их невелик, поэтому экспозиция начинается сразу за входными дверями. Входим. На стеллажах огромные кости, время источило их, придало им цвет камня-песчаника.

— Ребята на реке обнаружили. Берег подмывало... — пояснил Илья Яковлевич. — Да, мамонта... Ребята обрадовались. Оказывается, говорят, и наш район не какой-нибудь — мамонты водились... А это бронзовый топор. Старик нашел. Видите — ковырял. Думал — золотой.

Перешли в следующую комнату, посвященную дореволюционной жизни, и я как-то незаметно позабыл о времени. Разглядывал экспонат за экспонатом.

Вот объемистая миска, которую раньше в деревнях обычно называли чашкой. Выдалбливая ее из березы, обделывая, обглаживая, мастер, похоже, немало затратил сил и старания. И чашка, как говорится, служила верой и правдой. Кормилица всей семьи. Это к тебе тянулись деревянными ложками за щами, кашей или молоком с «моченками». В счастливые дни в чашку крошили мясо, но поначалу хлебали только щи, до тех пор, пока бородатый патриарх не постучит ложкой по краю чашки. Это означало, что можно «таскать со всем». Тут надо было не теряться. Однако и проворить больше нормы было небезопасно. У бородача глаз зоркий, он, не тратя попусту слов, мгновенно отметит твою ухватистость ложкой. Огреет так, что шишка на лбу вздуется.

Эх, чашка, чашка!.. Похоже, от времени, сильно горячего или от того, что тебя уронили неловкие руки (за что, конечно, немало перепало), ты треснула по дну. Но тебя не выбросили, щель аккуратно законопатили мягкой тряпицей, и ты продолжала добросовестно служить.

Теперь, валяйся ты, чашка, где-нибудь в кладовке, в дровянике среди прочего хлама, кто на тебя обратил бы внимание? А здесь, в музее, ты обрела значительность, обрела голос: «Смотрите, смотрите, люди, как жили ваши деды и прадеды. Смотрите и сравнивайте, думайте...»

И не только чашка, многое тут обрело голос, заговорило.

Древняя старушка передала толстый грубый домотканый лоскут, назначение которого теперь и определить трудно. Оказывается, это одеяло. И не простое, а, так сказать, парадное.

Кажущийся снаружи небольшим, внутри домик оказался вместительным, и каждый стенд, каждый экспонат говорил о вечной борьбе человека за лучшую долю, о стремлении человека к совершенству. Это важно, очень важно, как сказал бы Василий Тимофеевич.

В тридцатых годах потомственный земледелец Михаил Ерофеевич Ефремов вырастил в колхозе «Искра» небывалый урожай — 60 центнеров с гектара. Это был подвиг, и вскоре имя Ефремова стало вровень с именами Стаханова и Ангелиной, а ефремовское движение пошло по всей стране. Прошли годы. Умер Михаил Ерофеевич. Но «ефремовское движение» осталось, живет. Пример М. Е. Ефремова учит и вдохновляет сегодняшних хлеборобов. Да, прав Христенко: без прошлого не может быть будущего. Вот почему в музее помещены и подробный рассказ о высоком мастерстве Михаила Ерофеевича, и его правительственные награды, и скульптурный бюст, сделанный, кстати, земляком П. Щетиным. А рядом — свидетельства побед и достижений сегодняшних героев, преемников Ефремова, достижения всего района, добившегося, кстати, рекордного урожая в прошлом году: по 19 центнеров с гектара.

Музей тематически сливается с площадью, на которой строго высится белый обелиск Победы, горит Вечный огонь, а с постаментов смотрят скульптурные изваяния Героев Советского Союза. В основание обелиска замурованы списки шипуновцев, погибших в Отечественную войну. 3434 человека отдали свои жизни за мирное счастливое будущее. 3434! «Победа! Какой ценой завоевана ты! Люди, помните это!»

Площадь заасфальтирована, летом вокруг мемориала цветут розы, флоксы, гладиолусы. Здесь, у Вечного огня, принимают ребят в пионеры, сюда приходят новобрачные. Отсюда как бы начинается жизнь, а точнее сказать — жизнь никогда не останавливалась, она продолжается, она, если хотите, лежит на плечах человеческих, и очень важно, чтобы плечи были крепкими, чтобы вынесли они многое, а потом переложили свой груз на плечи других, новых поколений, которые пойдут дальше и сделают больше... В этом — суть.

4

После шести Василий Тимофеевич оставался таким же подтянутым, строгим, немного замкнутым. И только увлекшись, — а такое случалось нередко — он становился проще, доступней, глаза молодо оживлялись, светились тонкие морщинки вокруг глаз и поблескивали серебром виски. Мы только что побывали на площади, постояли у обелиска, и я спросил: снятся ли ему, ветерану войны, те лихие, суровые времена? Или за давностью лет да за повседневными делами все уже забыто? Нет, ничто не забыто и никто не забыт. — Он сказал это без всякой рисовки, задумчиво и грустно. И помолчав, добавил: — это ведь история, да еще какая история! Человек обязан помнить все. Все. Мы ведь не какие-нибудь Иваны безродные... История может стать другом, союзником, а может и наоборот... Великие-то как относились к истории? Я вот немного выписал... — Василий Тимофеевич достал из стола тетрадь и прочитал:

«Два чувства дивны близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».

Это наш Александр Сергеевич... А вот Гете: «Лучшее, что дает нам история — это возбуждаемый ею энтузиазм». И еще: «Кто забывает прошлое, тот не имеет будущего».

Ага, это уже знакомые слова, не раз слышанные от Василия Тимофеевича в разговоре.

— Не так все, конечно, просто. Тут диалектика. Любовь к родной земле, к деянию отцов и дедов — это не долбленая самодеятельная чашка и самотканая дерюга. Что было, то прошло, хотя знать об этом не вредно. У нового поколения новые запросы, новые потребности. А война что ж... война, можно сказать, прошла через сердце — этого не вычеркнешь, не забудешь. Хотите, расскажу, как она для меня начиналась, война?

И потом с минуту еще молчал, собирался с мыслями, лицо строжело и становилось как бы отрешенным.

— Мое боевое крещение состоялось на Днепре в районе села Бородаевка. А до этого все так — около пекла. А там уж настоящее... Лет сколько было? — Опять помолчал, подумал. — Восемнадцать с хвостиком. Хвостик-то небольшой, в три месяца.

Ну вот... Перебрались на тот берег ночью кто на чем, так называемые подручные средства. Благо — еще август стоял.

Немец бил, но не очень прицельно.

Выбрались. Справа — дядя Ваня, пороху уже вдоволь понюхал. Фамилию его теперь не помню, не долго довелось вместе быть. Он понял, что я еще необстрелянный, и взял надо мною шефство. Ты, говорит, парень, окапывайся. А я сам с усам— не на отсидку сюда, говорю, погоним... Окапывайся, говорит, окапывайся. Да попровористей,

чтоб время осталось сном силы подкрепить. День, поверь мне, жарким будет. Он вот как очухается, раскумекает, что к чему...

Утром «он» и в самом деле «очухался» и принялся глушить нас артиллерией. Методично так, упорно. Рванет снаряд землю то впереди, то за спиной, то сбоку. А я привстал в окопчике на колени, смотрю. Вон, оказывается, как они рвутся, снаряды-то. Я представлял совсем иначе...

— Васька, чертенок! Ложись! Сдурел!

Послушался я бывалого солдата, но любопытство все равно разбирало. И было досадно, что до этого не так представлял разрывы.

Между прочим, в школе я увлекался рисованием. Дома на стене осталась картина, на которой пытался изобразить бой. Красных с белыми, конечно. Снарядов я там не жалел. Но как они рвались! Отец, участник первой мировой, посмотрел, помнится, мое «творчество» и снисходительно улыбнулся. Я тогда даже обиделся. И только в окопе, на правом берегу Днепра, понял отцовскую снисходительность.

И еще — несколько фактов, мне кажется, немало объясняющих ту суть человека, о которой я задался целью рассказать.

На том памятном плацдарме в первое утро контратаку врага отбили и сами пошли вперед. Вырвались километров на пятнадцать. А ночью, когда достигли безвестной деревушки, враг навалился скопом со всех сторон. Где только что был тыл, завспыхивали, вспарывая темноту, ракеты. Их мертвенный свет выделял черные глыбы танков и ряды автоматчиков...

После, страдая на госпитальной койке от боли и избытка свободного времени, Василий, сколько ни насиловал свою память — она не могла восстановить события той злополучной ночи. Вспоминались какие-то рваные картины, больше похожие на кошмарный сон. А так, чтобы реально и в последовательности, — не получалось. Помнит, например, как совсем рядом двое установили под деревом станковый пулемет и застрочили по накатывающейся волне автоматчиков. Потом треснуло, рвануло огнем и грохотом и — ни дерева, ни пулеметчиков. И еще запомнился неизвестный человек в комбинезоне. Он метался среди залегших солдат и кричал: «Отходить! Отходить! Влево! В балку! Иначе гибель. Завели, мать их!..» Все бежали к балке, а тот, в комбинезоне, — впереди, оглядывался, звал за собой. Ракета, взлетев, обнаружила немцев совсем рядом. А тот, в комбинезоне, что-то кричал, бросился к ним, и они в ожидании прекратили огонь. «Бей, Вася, бей!»— вскинул автомат дядя Ваня. И они били до тех пор, пока тот, в комбинезоне, не свалился. «Вот гад! — сказал дядя Ваня. — Он сразу показался мне подозрительным».

К утру они очутились там, откуда сутки назад пошли в наступление, у Днепра. И благодарили судьбу, что удачно пробились. В той обстановке, когда под ударом превосходящих сил врага все нарушилось, смешалось, могло быть хуже. Ночь помогла...

Враг, окрыленный успехом, яростно атаковал, стараясь во чтобы то ни стало ликвидировать плацдарм. Но сутки, если не сидеть сложа руки, время немалое. Наши успели накопить силы. Из-за Днепра била артиллерия крупного калибра. Завязались жестокие бои.

Всякий крутой поворот в жизни всегда внезапен. Василия стегануло в спину, когда он совсем не ожидал этого. Стегануло так, что он упал как подкошенный. Однако сгоряча тут же сел, потянул к себе автомат, который был заброшен за спину. Смотрит — в диске дыра. Осколок снаряда насквозь прошил его. Схватился за спину — горячо и больно. Эта боль, вполне терпимая вначале, ежесекундно нарастала, рвала тело, лишила сознания.

В госпитале врач как-то сказал на обходе: «Ты, Христенко, в рубашке родился. Не угоди осколок в диск — пересекло бы позвоночник...» — «Воевать смогу?» — нетерпеливо перебил Христенко. — «Сможешь. Хватит на твою долю...»

Из госпиталя оказалась прямая дорога в запасной полк. А там свои неукоснительные порядки. Подъем. Строевая подготовка. «В две шеренги становись! Равнение направо!» После завтрака — отработка штыкового боя, физическая подготовка, тактика, уставы... Это в то время, когда родные, друзья-товарищи, сотни тысяч, миллионы соотечественников бьются и одолевают врага, освобождая город за городом. Не выдержал Христенко, обратился с просьбой включить его в маршевую команду. Начальство озадачилось. «Зачем торопишь события? Всему — свое время. Мы вот думаем оставить тебя... Присвоим звание.» Василий запротестовал: а разве у него нет звания? Солдат. Разве этого мало, чтобы драться с врагом? С ним согласились, но с отправкой на фронт посоветовали повременить.

Рота, батальон и весь полк в целом напоминали большой вокзал, куда все время прибывали и откуда все время отбывали. Эта постоянная смена людей, постоянные отливы и приливы заставили подумать: «А что, если самому?.. Пристроиться к команде...» Мысль показалась дерзкой, почти преступной. Поначалу Василий испугался, но потом решил: «Ведь не в тыл, а на фронт. Каждый поймет...»

И настал день, когда Василий окончательно убедил себя: так только и надо, иначе он не может. А когда поезд тронулся, увозя их на запад, Василий своей радостью обратил внимание товарищей. «Ты, парень, как на свадьбу... — покосился на него пожилой солдат. — Можно подумать, там вместо мин и снарядов блины в масле летают».

Христенко угодил тогда в разведку. Собственно, не угодил, а сам назвался. Построили и спросили: «Кто желает в разведку, два шага вперед». И он вышел. Вышел и воевал разведчиком до самого конца, до победного дня. И даже несколько больше. Мужество его отмечено орденами Славы всех трех степеней.

5

Хозяйство района растет, развивается, требуя все больше и больше рабочих рук. А тут еще строительный комбинат со сметной стоимостью в 30 миллионов рублей, первый в крае. Сельское строительство ставится на промышленные рельсы. Отпадает нужда в дорогостоящем кустарничестве, когда каждый хозяйственник сам по себе изворачивается, достает. Строительный комбинат будет выдавать сборный железобетон, аглопоритные блоки, столярные изделия, половую рейку и многое другое. Но комбинату тоже нужны рабочие руки. Теперь, когда он строится, и потом, когда вступит в действие. Но их-то, рабочих рук, как раз не хватает.

— Все идет по извечной формуле: люди ищут

где лучше, — говорит Василий Тимофеевич. — У нас по одну сторону под боком Барнаул, по другую — Рубцовск. Там обучают специальности, дают общежитие... Вот и ломаем голову... На службу в армию провожаем торжественно: говорим хорошие слова, даем наказы, землю родную вручаем в целлофановых мешочках: дескать, вот тебе, помни — полита потом и кровью твоих предков, ждем тебя. Парень растрогается, обещает вернуться. Уехал — связь оборвалась. А у парня — новая обстановка, новые товарищи и друзья. А если еще подружка заведется — считай, все пропало. «В село? Была нужда! Да мы тут, в городе, устроимся не хуже других».

Василий Тимофеевич рассказывает о посещении одного из колхозов Казахстана.

— Председатель там толковый. Живет не только сегодняшним днем. Парень армейскую службу несет, а ему — письма с подробным рассказом о колхозных делах: об урожае, строительстве, о заработке колхозников. А потом главное: «Уважаемый земляк такой-то! Правление колхоза выделило тебе в новом доме квартиру и обставило новой мебелью. Желаем успешно закончить службу, ждем в родном колхозе». Перед готовым и городская подружка не устоит, поедет. — Помолчал, хитро улыбнулся. — Неплохо. А коли неплохо, почему бы не перенять... Но об этом вам лучше Войтюк расскажет. Расскажет и покажет.

6

Петр Степанович Войтюк, бывший начальник райсельхозуправления, теперь председатель знаменитого «гриньковского» колхоза «Родина». Он сразу сказал: лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. И повел нас по селу.

В первую очередь пошли на окраину, где в знаменитой березовой роще несколько хозяйств на долевом участии строят больницу. Заводила, конечно, «Родина».

Березы, утопая в снегу, заглядывают в большие окна вполне современного двухэтажного здания. Строители, пустив в здание тепло, переместились на внутреннюю отделку. В сыром банном воздухе кипит работа.

— На прямую вышли, — говорит Войтюк. — Вот только плит не хватает.

Василий Тимофеевич интересуется, сколько не хватает, советует, где и как достать. А когда выходим, смотрит задумчиво на березы и говорит:

— Осторожней с ними. Близко не асфальтируйте.

— Мы ж только дорожку... А вокруг — газончик, цветочки.

— Зинаида Ивановна Лучник из института садоводства шефствует над нами, — говорит Христенко. — Подсказывает, саженцами помогает. Через нее получили розы. Посадили на площади, полили. А утром — ни одного куста.

И говорит он об этом без возмущения, даже слегка улыбаясь.

— Ведь не выбросили, а унесли. Значит, цветочный голод. Розы у нас достать негде. Пришлось срочным порядком снова ехать на поклон к Зинаиде Ивановне. Эти не трогают, живут. Вот такая поправка...

Потом зашли в колхозный Дом культуры.

Федор Митрофанович Гринько, помимо всех прочих качеств, имел в характере основательность. Излишеств не боялся, строил с многократным запасом прочности, так, чтобы на века. Сам умер — Дом культуры стоит и стоять будет. И внутри все прочно, основательно. Сиденья в зале массивные, свободные. Картины на стенах большие, добротные, в широких рамах с потускневшей от времени бронзой. А в правом углу фойе, сразу у входа, — длинный и старый стол грубой работы, такие же скамьи.

— Вот тут Федор Митрофанович играл с колхозниками в домино, — говорит Василий Тимофеевич, — и я легко представляю Гринько за этим грубым столом. Сидел он в окружении таких же пожилых, как и сам, похоже, дружков-саратников. Играли азартно, шумно, громко били по толстым доскам стола.

Взглянув на Войтюка, я невольно подумал: этот, пожалуй, не сядет за домино. И колхозники, особенно молодые, переросли интересами эту незамысловатую игру. Им подай талантливую книгу, увлекательную кинокартину, умный, воспитывающий чувства спектакль.

Домино вспоминалось еще раз, когда я встретился с Войтюком в районном книжном магазине. Петр Степанович неспешно и вдумчиво выбирал книги. Возьмет, полистает, аннотацию прочтет и либо обратно поставит, либо отложит — понравилась, значит. Так набралось две солидных стопки. Петр Степанович отнес их к продавцу и сказал:

— Это для колхоза «Родина»... Приедут, заберут... Вы уж пожалуйста...

Что же, молодому поколению, подпертому плечами старших, видно больше и лучше. А тем, старшим, учиться приходилось урывками, между беспощадными боями и бурным созиданьем. Выручили врожденная тароватость и жажда нового в сочетании с железной настойчивостью, упорством. В сущности это — атланты, держащие на себе прекрасное здание нашей жизни. Живые они или мертвые, но держат. Держат прочно, неутомимо...

В тот вечер мы допоздна засиделись в колхозной конторе. Разговор будто метался с одного на другое, а в сущности был об одном — о сельской жизни, о том, как все изменилось, окрепло, поднялось.

Я поинтересовался, как Петр Степанович решился сменить районные масштабы на колхозные. Все-таки начальник райсельхозуправления...

— Привык с людьми, а контора как-то тяготила... Василий Тимофеевич заметил.

— Не искажай, — пошутил Христенко. — Сам напросился.

— Ну и сам тоже... — глянул с улыбкой на секретаря. — А все равно ваш «крестник». — И вдруг как бы не к месту: — У нас тут женщина техничкой работала. Василий Тимофеевич увидел ее и говорит: «Что же ты, такая молодая, с веником в руках? Шла бы на трактор, за штурвал. Там куда интересней да веселей». Теперь эта женщина — передовой механизатор. Уехала в составе делегации в Свердловск на совещание женщин-механизаторов.

— Она ж давно созрела для механизатора, а руководство колхоза не замечало этого, — с легким укором сказал Христенко. — Тут, брат, главное — вовремя заметить, на что человек способен, к чему душа его расположена...

Разговор продолжался в машине. Была ночь, под светом фар поземка тянула через дорогу снежные хвосты, к ровному рокоту мотора ветер примешивал свою разноголосую песнь. Наслаж-

даясь уютным теплом машины, сидя рядом, ведем неспешную беседу. Говорит больше Василий Тимофеевич, я слушаю, спрашиваю.

— В сухую погоду агроном то и дело посматривает на барометр, интересуется, как ведет себя стрелка, куда клонится. У нас в райкоме миграция населения тоже стала своеобразным барометром...

— Ну и как ведет себя стрелка? — спрашиваю.

— В последнее время останавливалась на одном месте.

— Неплохо?

— Как вам сказать. Сегодня неплохо, завтра будет недостаточно. В последние годы неизмеримо возрос авторитет механизаторов, животноводов. Труд крестьянский в почете. Это одна сторона. А другая — городские промышленные предприятия не чужие, не какого-то заграничного дяди, и они остро нуждаются в кадрах. Так что и тут диалектика. Выход? Повышение производительности труда, механизация трудоемких процессов, вскрытие внутренних резервов. Все это общеизвестно. Об этом много говорим...

В скользящем свете мелькнули окрашенные домишки Шипунова. Василий Тимофеевич, примолкнув, взглянул на часы. А я подумал о том, что у партийных работников этого района складывается свой стиль работы, отвечающий требованиям времени, интересам народа. Здесь не любят трескучих, не имеющих прочного основания фраз, стараются делать все основательно, убедительно, доходить мыслью и до того, что кажется на первый взгляд мелким, а в конечном счете приобретает большое значение.

И хорошо еще то, что Василий Тимофеевич обладает чувством такта. Многое из того, что сделано и делается в районе, — плод его раздумий, но он никак не претендует на авторство, приоритет, нигде и ни в каких случаях не говорит, что это, мол, мои заслуги. Напротив, подаст мысль, ею загорятся, начинают обсуждать, уточнять, и он вместе со всеми. Кто-то что-то уточнит, дополнит... А как же иначе?

Так именно получилось с подготовкой женщин-механизаторов. К этому делу большой государственной важности в районе подошли всесторонне, все обсудили, все взвесили, все учли. От районных работников я уже слышал, что Василий Тимофеевич играл тут не последнюю скрипку, однако он этого ни разу не подчеркнул, все время говорил «мы».

В первую очередь надо было разъяснить, что специальность механизатора уравнивает жену с мужем. Муж порой много не сделает, но дома смотрит на жену свысока: дескать, я вот с работы, а ты что, ты весь день дома и даже обед путно не приготовила.

Василий Тимофеевич говорит, что это только одна сторона большого дела. За разъяснением должно последовать создание условий для учебы, работы. А дети? Их на произвол судьбы не бросишь. Нужны детские ясли, сады. Внешний вид женщины-механизатора тоже не забыли. С помощью модельеров из Барнаула разработали рабочую форму, парадную. Все это дало свои результаты. В районе немало семейных агрегатов: муж и жена, отец и дочь, девушки из контор в горячую пору садятся за штурвал комбайна и трактора. Трудятся увлеченно, с азартом, сочетая государственные интересы с личными.

7

Техника, цивилизация как бы изолировала, оторвала человека от земли. А человеку крестьянского корня хочется непосредственного соприкосновения с ней, тянет запустить в нее пальцы, чтобы почувствовать ее теплую животворную силу, могучую и не до конца еще понятную, еще полную волшебных таинств.

Именно поэтому, когда выпадает свободная минута, Василий Тимофеевич идет в садик. Там у него — яблони, цветы, несколько кустов смородины, растения-«варяги», привезенные им из разных углов страны.

Он копает, рыхлит, обрезает. Земля удивительно успокаивает, рождает мысли — о прошлом, о настоящем и будущем. Мысли четкие, чистые, освеженные общением с землей, физическим трудом. Он любит физический труд, умеет его ценить.

Война взяла Христенко со школьной парты. А кончилась — начинать мирную жизнь надо было с исходных позиций, в сущности от тех же школьных парт, хотя опыт, конечно, был накоплен. Суровый опыт. Но знаний не хватало.

Отдохнув под родительским кровом, он уехал в Свердловск, поступил в политехнический институт. Голодно, холодно, неуютно. Решил поработать, окрепнуть, обрести уверенность в мирной жизни. Но в райкоме партии, когда пришел сниматься с учета, сказали: «Пасуешь, товарищ фронтовик? Трудностей испугался? А стране позарез нужны специалисты. Много и разные».

Так Василий Тимофеевич оказался в двухгодичной юридической школе, после окончания которой приехал на Алтай, работал народным следователем Топчихинского района, секретарем райкома партии по зоне МТС, вторым секретарем райкома. В апреле 1964 года его избрали первым секретарем Шипуновского райкома партии.

Десять лет. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть, что сделано.

Он тогда начал с главного — с кадров. Руководители хозяйств, контор жили без загляда в будущее. Прошел день — ладно. Причины того были в недостатке культуры, в плохом знании порученного дела, в бескрылости. Учиться, всем учиться. Учиться очно, заочно, в техникумах, институтах. И сам учился. Боролся с пьянством, разгильдяйством, безответственностью, равнодушием. Присматривался к молодежи, выдвигал. Петр Иванович Бестужев работал в колхозе скотником и заочно учился в сельскохозяйственном институте. Окончил — избрали секретарем парткома колхоза, потом взяли в аппарат райкома инструктором. Теперь Бестужев — председатель райисполкома. А лет — всего тридцать три. Человек напористый, энергичный. Стремится все постичь, во все вникнуть, до всего докопаться. Такие именно нравятся Василию Тимофеевичу — они не подведут, помогут советом и делом.

Под стать Петру Ивановичу Бестужеву директор совхоза «Октябрьский» Александр Васильевич Козликин, начальник сельхозуправления Юрий Иванович Скворцов. Это тоже его подопечные, смелые, инициативные, энергичные...

А с чего начинали — вспоминать стыдно. Заседание бюро райкома, назначенное, допустим, на три, собиралось около четырех. Заседание бюро райкома! Что же говорить об остальном? Приезжает в колхоз — председатель пьяный, сидит, развалясь, в кресле, распоряжается, подписывает,

не замечая иронических ухмылок конторских служащих и рядовых колхозников. Пришлось все ломать, не грубо, конечно, не через колено, но настойчиво, неуклонно. А если не помогало — оргвыводы... Теперь весь район знаёт, что Василий Тимофеевич не терпит фразерства, разболтанности, безответственности. Пообещал — сделай аккуратно, в срок. Не можешь — не обещай.

В этом году Шипуновскому району исполняется пятьдесят лет. За полвека жизнь изменилась до неузнаваемости. В 1925 году коммуна «Новый свет» (ныне колхоз «Родина») получила трактор, единственный на весь район, невзрачный, маломощный. Теперь тракторов — около 1300, больше тысячи комбайнов, столько же автомобилей, а посевная площадь с 37700 десятин возросла до 236 тысяч гектаров.

В 1924 году 87 процентов населения было неграмотным. Теперь половина взрослого населения района имеет высшее и среднее образование.

Василию Тимофеевичу приятно от того, что десять лет — одна пятая пути, пройденная районом, — это по времени. А если по напряжению созидательного труда и его результатам, то, конечно, значительно больше. Коммунисты района много потрудились над тем, чтобы поднять культуру земледелия, урожайность полей, повысить продуктивность животноводства. И сам человек, каждый житель от малого до старого, с его прошлым, настоящим и будущим, стал объектом пристального внимания партийных органов. А это в конечном итоге самое главное, потому что в жизни все идет от человека, от его нравственной силы, духовной культуры, моральной стойкости.

Партия и правительство по достоинству оценили плодотворную деятельность первого секретаря Шипуновского райкома партии Василия Тимофеевича Христенко, присвоив ему звание Героя Социалистического Труда.

8

Теплым апрельским вечером на проспекте Ленина многолюдно. И вдруг среди расторопных женщин с сумками, среди праздной молодежи — Василий Тимофеевич. Я обрадовался, как родному, так и потянуло к нему. И он тоже заулыбался.

Остановились. Он сказал, что приехал на краевой партийно-хозяйственный актив. Работы хоть отбавляй. И посетовал, шутливо разведя руками: суток не хватает, коротки.

На партактиве он выступал со своеобразным отчетом об участии в Международном конгрессе миролюбивых сил в Москве, говорил Василий Тимофеевич взволнованно и горячо, говорил о том, как важно каждому из нас, независимо от положения и занимаемой должности, сознавать личную ответственность за судьбу мира, ибо в конечном счете судьба мира складывается из усилий миллионов и каждого человека в отдельности — в этом суть. А после актива Христенко заторопился домой, в Шипуново. Приближался сев, тут важно, чтобы весна не застала врасплох. Не зря ведь в народе говорят: весенний день год кормит. И я подумал о том, что Василий Тимофеевич Христенко прежде всего сам является частью народа, неотделим от него — и в этом главное, в этом суть его жизни.

Март—апрель
1974 г.

Электронная библиотека

Александр ДЕМЧЕНКО

КОГДА ЦВЕТУТ ПАНТЫ...

1. „ПОКОРМУШКА“

Под Талицей, высокогорным поселком мараловодов, несколько речушек сходятся. Такой галдеж от них, что ничего больше не слышно. Шумят, лопочут на обточенных гладких камнях. Небось рады, что на простор из ущелий вырвались. А путь проделан ими немалый: десятки никем не меряных верст по каменным торосам от самых ледяных белков. Вот и лопочут, новостями делятся, а наговориться так и не успевают. Едва показываются в долине, подхватывает их могучая горная река Чарыш. Они еще кипят у берега десяток-другой метров, а потом, покоряясь силе, смиряются и расстаются со своими прежними именами.

В этих местах зеленые ветры дуют. Это хорошие, добрые ветры. Особенно ранней весной. Они распечатывают на кустарниках и деревьях почки, и те, словно пряча наготу свою, тотчас набрасывают на свои плечи голубоватую дымку. Так ткется весенний наряд.

Горы тут высокие, и от подошвы до вершины покрыты деревьями. Внизу — березовые рощи. У рек — заросли ивняка и черемухи. А повыше, на скальных выступах, пихты и ели.

Талица — в раструбе ущелья. Вокруг высокие горы, а под ними — речушка.

— Самые места маральи у нас, — говорит известный талицкий мараловод Федор Петрович Кудрявцев, Герой Социалистического Труда. — Высокие, сухие места. Много тут раньше диких бродило. Сейчас сплошь и рядом каменные ветви находим...

Мараловод не скажет — рога. Он скажет: ветви... Когда наливается такая ветвь — она живая. Он говорит: «Пант зацвел...» А цветет он в это весеннее благодатное время. Предел цветения тоже имеет. В июне пора срезки цветка. А он действительно пышный, этот цветок, — пант, покрытый сероватой бархоткой.

— Задача наша не допустить затвердения панта, — говорит Федор Петрович. — Вот тут свое умение и надо показать мараловоду — определить точные даты снятия панта у каждого рогача. А их вот у нас около шестисот. И перворожек 58 голов... Перворожки — это молодые рогачи. Их пант имеет 3—4 ветки. Легкий пант. И план на них пониже. А возни с ними побольше, чем со взрослыми рогачами.

Федор Петрович Кудрявцев начинал свою работу в парках с пятнадцати лет. Это была небольшая ферма Кайтанакского совхоза Усть-Коксинского района.

— Мы, мараловоды-то, все почти коксинские университеты прошли, — смеется Федор Петрович. — Вот у Фатея Попова из Карагая шесть сынов на маральнике трудятся. А старший-то, Петро, уже орден Ленина имеет. Высоко отмечен Петро. Сейчас отца сменил на Карагайской ферме. — Подумав, смеется: — Да разве его сменишь? Как кедр еще... Смолист, силен... не уходит из парка.

О Федоре Петровиче то же самое можно сказать: за пятьдесят, а силен, смолист. Только смолка на полных щеках его вроде загара — здоровая, крепкая. И есть что-то в нем от этих каменных граней.

На скалу смотришь и видишь ее скулы — литые, навечно годами сварены. Хилому да слабому духом она непреодолимым препятствием кажется. Коренастый, крутоплечий, с лицом, вытесанным из розового мрамора, мараловод чувствует себя хозяином этих мест. И с этими крутяками он на равных. В это верится сразу.

...На вершинах гор перьями жар-птицы трепетно вспыхивали отблески зари.

— Я себя учеником Фатея считаю, — говорит Кудрявцев. — Когда начинал, он уже в славе ходил... Абайский совхоз гремел тогда.

После войны потребовались мараловоды и в соседний район, Усть-Канский. Фронтовик-разведчик Федор Кудрявцев принял Талицкую ферму, а в 1968 году ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. По шесть с лишним килограммов насушил тогда пантов от каждого рогача Федор Петрович. Это много. Это значит, на килограмм выше планового каждый пант потянул.

Тогда Фатей Петрович Попов сам съездил в Талицу поздравить своего ученика.

— Зима, помню, очень уж сподручна была... Кормов — в достатке, — вспоминает Федор Кудрявцев о том счастливом годе. — Пант хорошо налился.

...Горел костер. Над урочищем плыли подкрашенные закатом облака. Истории, похожие на легенды, всю ночь звучали у костра. А между тем это были будни людей этой редкой профессии.

...Кто-то подстрелил маралуху. Дикую. Остался несмышленыш-мараленок. В то время было немало разговоров о том, что марал — это вовсе не зверь. Что достаточно поработать с десяток лет с одним стадом — и маралы станут как домашние коровы. Федор в ту пору был совсем еще молодым парнем. В парке работал совсем мало. Повадок своих питомцев почти не знал. И верилось, что так оно, пожалуй, и должно быть. При-

выкнет зверь и перестанет быть зверем. Приручают же даже змею, не говоря уже о животных...

Мараленок смело подошел. Он был истощен и едва стоял на ногах. «Возьму его домой и выращу, — решил Федор. — На нем и испытаю привязанность к человеку».

Коровье молоко мараленок пил с удовольствием. Скоро поправился и, как теленок, ходил за коровой. А та его даже облизывала, принимая за своего. Мирная картина! Весной он пошел со стадом, а вернулся один.

— Дичится... Норовит уйти от стада, обособиться, — рассказывал пастух.

Интересно: уйдет или нет?

За зиму не покидал пригона. Ел сено, концентраты. Справным стал. К весне будто затосковал. Все на горы посматривал. Прислушивался. Часами мог стоять и смотреть в ущелье.

— Тоскует, — говорила жена. — Убежит...

— Убежит, — подтверждали мараловоды. — Зверь ведь. На свободу тянет. Это верно. А не выпустить ли его к нашим маралам? Родня ведь. Примут.

Так и сделал. Отвел в маральник. Ожил, веселым стал мараленок. Каждое утро, где бы ни был, сбегал к воротам и встречал Федора, как старого знакомого. Подойдет, ткнется мордой в руки и ждет: что даст хозяин? А Кудрявцев то кусочек сахару сунет ему, то хлебную корочку.

Красивым рогачом вырос марал. Цыганом назвали его. Вот подошла пора панты снимать. В станок зашел без особых понуканий. Даже с каким-то любопытством. Привык, похоже, доверять человеку.

— Снимаю панты, — рассказывает Федор Петрович. — Чувствую, как мелко-мелко дрожит весь... Взяли пант. Снял с его глаз повязку, а там не глаза — сгусток крови. Выскочил из станка, отряхнулся и вдруг, вижу, идет ко мне. «Ну что, дурашка... Больно? Так надо, брат, так надо... А ты гордись своими пантами. Килограммов пятнадцать будут». Слушает. Пофыркивает сердито, а сам ближе подходит.

Пошарил в карманах мараловод — ничего нет. Хотел как бы извиниться за причиненную боль. А марал подошел и вдруг поднялся на задние ноги... Смекнул мараловод: драться хочет. И вовремя смекнул. Тот уже передними ногами заработал. Увернулся. В сушилку закрылся. Смотрит оттуда в окошко, а обиженный все не уходит. Крикнул помощнику, чтобы тот бичом его прогнал. А он и на помощника. Совсем озверел, лезет, молотит в воздухе ногами. Вот положение! Кое-как, вечером уже, в темноте прокрались к коням да верхом и спаслись от него.

На другой день — та же история. Те, которые неручные-то, не подходят, боятся человека. Этот же «покормушка» еще издали заметит и бежит навстречу. На бой вызывает.

— Злой стал. Вот я и думаю: стоит ли так близко сходиться со зверем? Уж очень нахальными становятся. Нет, самое лучшее, наверно, чтобы соблюдали положенную субординацию...

— А с тем что было, с Цыганом?

— В «басмачи» записался... В дезертиры. Перед съемкой пантов перескакивает через ограду — и в горы... Да еще и друзей сговорит.

— Не простил. Оскорбился.

— Крепко. Не совсем оно, оказывается, сподручно сходиться на «ты» со зверем...

2. „ДЕВИЧНИК“ И „РАЗЛУЧНИК“

Мы в парке, который мараловоды называют ласково девичником. Сюда отбиты матки, молодые маралухи. Парк огромен, сотни гектаров занимает. Мы поднимаемся на лошадях в гору. Сильные низкорослые лошади привычно и совсем, кажется, без особого напряжения шагают по тропе. Федор Петрович внимательно осматривает высокую ограду. Это теперь его «прямая обязанность». Он — егерь.

— И так изо дня в день?

— Почитай, что так, — кивает Федор Петрович. — Только, чтобы объехать вокруг всего маральника, теперь двое суток надо потратить.

Мы обращаем внимание на то, что в «девичнике» совсем почему-то не видно взрослых маток.

— Прячутся, — говорит Кудрявцев, — морока с ними егерю: и сама прячется и чадо свое так запрячет, что с ног собьешься, пока рассекретишь ее подпольный роддом.

А найти надо. Может, помощь новорожденному требуется...

Огромная гора, покрытая густым пихтачом, упирается вершиной в облака, разрезает их и нанизывает, будто хлопья пены, на острые сучья деревьев. Вдоль горы, от самого «белка» до подошвы глубокая морщина — впадина. Где-то на дне ее белеет струйка ручья. Валуны — камни высотой в двухэтажный дом — свисают над этой впадиной. А вокруг по склонам — чаща, бурелом, колодник.

— Вон, смотрите, у того камня маралуха стоит на страже, — указал кверху на серый обточенный ветром осколок скалы Федор Петрович.— Следите за ее поведением, а я поеду к ней...

Маралуха спокойно пощипывала траву у камня, но, заметив приближавшегося к ней всадника, подняла голову и настороженно посмотрела на него. Вот она прошла к камню, но тут же вернулась на полянку, однако уже спокойно есть не может. Едва опустит голову, как тут же поднимает ее и с беспокойством смотрит на верхового, будто решает: что ему нужно? Тревожное чувство уже не покидает ее. Она снова вернулась к камню, потом стала кружить вокруг и вдруг сорвалась с места и легкой трусцой побежала навстречу всаднику. Не добежав метров с десяток, круто повернула вправо и торопливым шагом, поминутно оглядываясь, устремилась к вершине горы. Она звала за собой. Она явно не хотела видеть непрошеного гостя у того самого камня. И конечно же, опытный мараловод разгадал ее уловки. Он круто свернул к камню. Маралуха бросилась наперерез. Федор Петрович поднял коня в галоп и опередил ее. Быстро обследовал подозрительное место и встретил разъяренную матку бичом.

— Дуреха! — кричал он. — Что я, съем, что ли, твоего сураза? А кто бирку ему повесит? Соображаешь? Ты вот лучше от беркутов хорони его. Нашла тоже место! Тут на этом камне самые беркутиные слеты бывают! Иди на караул, иди!..

Они разошлись в разные стороны. Вытирая лицо платком, Федор Петрович тяжело дышал.

— А я давно искал ее, — говорил он. — В вершине горы искал, есть там несколько расселин, а она в этот раз схитрила: не стала в трущобу забираться. Рядом с открытым местом разрешилась... А мараленок добрый. Шустрый. Увидел меня — под камень нырнул. Там вроде крыши такой образовалось.

Мы продолжали по извилистой каменной тропе подниматься вверх. Над головами, срезав верхушку горы, повисло подпаленное снизу лучами заходящего солнца розоватое облако. Где-то справа шумел водопад.

— А насчет беркутов — это верно? — кричу Федору Петровичу. Он останавливает коня. Я подъезжаю и тоже натягиваю повод. Пусть отдохнут кони.

— Это их лакомый кусок, — говорит он. Мы слезаем с седла. Разминаем ноги. — Только теперь-то уж не взять мараленка — подрос. Окреп на ногах. Входит в силу. Маралуха — животное с понятием. Отелится и тут же все убирает, чтобы не привлечь зверя. Он ведь на запах идет. Когда замаскирует все следы, ведет свое чадо на новое место. И сама все время настороже. Ну, от беркутов отбиться может, со зверем — посложнее. Рысь в этих местах свирепствует... Медведи заходят. В прошлом году троих маралух задрали. Пришлось двое суток на карауле стоять. Выследил, убил. Нынче не слышно пока.

Из под увала на «прилавок» (так здесь называют ровное место на склоне горы) вышел табунок пантачей. Увидев нас, остановились, откинув назад головы, смотрят.

— Дожди теплые прошли. Хорошо трава поднимается, — замечает Федор Петрович. — На прилавках уже наедаются. В лесу-то с пантами несподручно. За «цветы» свои боятся. Болькие они сейчас у них, боятся резко головой тряхнуть.

Он легко вскочил в седло, и мы тронулись дальше. Рогачи долго еще провожали нас настороженными взглядами.

— Не доверяют вам, Федор Петрович, — показываю в их сторону.

— Меня-то они далеко узнают, — улыбаясь, соглашается Кудрявцев. — Небось, думают: вот здесь безжалостный дядька заедет повыше и начнет шуровать оттуда своим бичом, сгоняя всех к «разлучнику»...

На Карагайской ферме Абайского маралосовхоза нам удалось побывать на срезке пантов. Горячая это пора для мараловода. С утра до вечера, меняя лошадей, он в седле. И не просто в седле... Как выразился тогда Фатей Петрович Попов — патриарх мараловодов Карагая, — летать по воздуху приходится с утра до вечера... Его ведь догнать надо, пантача-то... и завернуть суметь к «разлучнику». А кабы он один был, а то, считай, сотни их, а ты с двумя егерями... На гору вскачь — под гору вскачь. Не одну стремянную подпругу сменишь за день-то. К седлу, почитай, не привалишься — ноги навытяжку, упрешься в стремя и гоняешь... Кричишь, свистишь, бичом стреляешь. К вечеру только маячишь руками, сил нет слово сказать. Перехватит горло-то, сипишь, как сыч, вот руками и машешь.

В «разлучнике» рогачи разлучаются со своими пантами. Отсюда и название.

3. МАРАЛ ПРИНИМАЕТ „ЦЕЛЕБНУЮ ВАННУ“

Ограда ломаной линией огибает одну гору, вторую, перехватывает широкую луговину в глубоком распадке и скрывается с глаз где-то в лесной чащобе. Она необычна, эта изгородь. Она похожа на крепостную стену. И не городится она, как обычная, жердевая, а рубится, как дом, в лапу. Оттого и получается ломаной линией, в ее звеньях — полуквадраты. Высота достигает двух—двух с половиной метров. В низинках — до трех. «Поровой» рогач (то есть в «самой поре», самый сильный, — 8—10 лет) легко берет и трехметровый барьер, но происходит это редко.

— Через ограду его погонит разве только отчаяние. Например, зверь прижмет, — говорит Федор Петрович. Подумав о чем-то, смеется: — А вообще-то какой ему расчет бежать — тут его подкармливают зимой, даже концентраты достаются. А где он их возьмет на воле? И все же были редкие случаи. Так мы особенно и не волновались: придут... Побегают и придут. Вот, пожалуй, и еще один случай, когда он может «махнуть» через ограду, только уже обратно, в зону. Случаи такие были. Болтался один отчаянный рогач месяца три. До снегов гулял на воле. Потом стали находить следы у ограды. То в одном месте, то в другом. «Ну, пусть пошарится, — думаем. — Голод не тетка». Умышленно стали силос разбрасывать у ограды, концентраты... Не выдержал! Пришел.

В довольно широкой впадине течет ручей. Местами берега его выбиты, а дно углублено.

— Ванны... Рогач зверь предприимчивый, — кивает на эти ямы Федор Петрович. — Сам выбивает их... Осенью, перед гоном, принимает грязевые ванны.

Мы об этих «целебных ваннах» слышали и от Фатея Петровича Попова. Были в его Курдюмском маральнике. Стояло «бабье лето». Всю ночь в лесу трубили маралы. Слышался треск сучьев и гулкий топот копыт по каменным тропам. Горнили рогачи. В их трубном звуке, мелодичном, прорывались властные нотки. Возможно, это был вызов сопернику. Поединки их бывают страшными. Сломя голову бежит марал навстречу сопернику. Сбиваясь, поднимаются на задние ноги, а передними, как цепами, бьют друг друга.

— Под ударом такого «цепа», — говорит Федор Петрович, — в щепки летит двадцатисантиметровая в отрубе лесина. А поединки рыцарские не только за подружку бывают. У этих самых «целебных ванн» тоже устраиваются ринги. Перед гоном марал старается согнать весь лишний жир. Он залазит в такую ванну и бьется в ней, безжалостно истязая себя.

— Выскочит, — продолжает Федор Петрович, — и в гору, пока на колени не упадет от усталости. Бежит, будто его кипятком ошпарили. Язык — набок. Изо рта — клочья пены падают, а он все бежит... Потом снова — в ванну.

До своего праздника рогач растит свой цветок. Он осторожен и пуглив в эти дни.

— Очень уж болький у него этот самый цветок, — повторил Кудрявцев. — Обратите внимание: не табунятся. Каждый по себе. Ветки дерева остерегаются: не задеть бы случаем...

...Над Талицей быстро сгущались сумерки. Небольшая деревенька мараловодов погружалась в темноту. Из ущелий задувал мягкий, будто кошачья лапа, ветер. Чем мягче ветер, тем громче ручьи и птичий грай в прибрежных кустах. Еще виснет синим парусом будто вырубленный в немыслимой выси кусок неба, а в деревне уже вспыхивают яркие огни электролампочек. На отлогом склоне горы Кымы мелькают быстрые тени. Они пугливы, эти тени. Гордо вскинув головы, чутко всматриваются в гирлянды огней пантоносцы. Блеснула где-то на вершине Кымы последняя зарница, и нам показалось, будто высеклись хлебозарами на горе золотые искры.

А может, это цветут панты?

Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ

ЛИЦО ТЕАТРА

В Алтайском государственном театре драмы новый главный режиссер. Время от времени такое происходит в творческих коллективах. И не бывает так, чтобы приход нового художественного руководителя никак не отразился на всем том, из чего слагается лицо театра.

Другое дело, насколько такие изменения существенны; к лучшему они или к худшему. В биографии краевого театра всякое бывало. И вот — А. Д. Смеляков.

Имя это уже было знакомо театральной публике Барнаула — главным образом по сезону 1959—1960 годов. Спектакли, поставленные тогда Смеляковым в краевом театре драмы, отличались броскостью, темпераментностью; они волновали. Как особенность почерка запомнилось умение режиссера использовать выразительные возможности «неодушевленных» предметов. Полтора десятка лет (в течение которых были ведь значительные, впечатляющие работы) не стерли из памяти сжимающую сердце картину: неподвижно мчится на сцене пассажирский вагон, и одиноко трепещет на ветру зацепившаяся за поручень косынка погибшей девушки...

О молодом режиссере тогда заговорили; эти разговоры приводили в театр все новых зрителей...

Потом А. Д. Смеляков работал в театрах многих городов. Но что-то в Барнауле, видно, пустило корни в его сердце. То ли постоянная готовность театрального коллектива к напряженной (лишь бы увлекательной) работе, то ли зрительское понимание, то ли заинтересованное отношение общественных организаций, писателей, вообще интеллигенции, — а скорее всего, все это вместе взятое, — время от времени приводили режиссера на разовые спектакли туда, где его посетил первый заметный успех. Так что не показался неожиданным и приход Смелякова в прошлом году в штат Алтайского государственного театра драмы.

...Репетиции начинаются каждый день по жесткому расписанию. Смеляков ведет их напористо, стремительно, стараясь не терять времени, но и добиваясь, чтобы каждый актер ясно понимал свою задачу в спектакле. Сообща ищут характеры, взаимоотношения, проблематику... Режиссер настойчиво будит ассоциации, требует, чтобы актер не ограничивался ближайшим, внешним миром роли, узко бытовым значением реплики, а проникал в стоящие за этим явления жизни, во внутренние мотивы поведения персонажа. Каждый спектакль должен и волновать зрителя, и заставлять его думать!..

А в промежутках между собственными спектаклями — «доводка» работ подопечных коллег-режиссеров. Тоже — время. Тоже энергия. Но зато и общий язык постепенно начинает вырабатываться.

Для своих спектаклей Смеляков охотно берет верящих в него сорежиссеров: и успеешь больше, и опять-таки передашь через них часть себя в будущие их самостоятельные спектакли. (Говорят ведь: неважно, есть ли у тебя исследователи, важно, есть ли последователи...). Общие муки поисков с художниками, композиторами, с техническими службами... В работе постепенно начинает заново строиться творческий коллектив.

(Строится он не так уж просто и ровно — тот же характер, который неукротимо торопит режиссера к цели, мешает иногда найти ключ к трудному актеру. Тут есть о чем подумать, иначе ведь сам и повредишь то, что создается и твоим и общим трудом...

Но пока он додумать это не успевает. Видимо, это произойдет несколько позже).

На сцену выходят спектакль за спектаклем. За семь месяцев у главного режиссера — четыре спектакля своих и четыре — его подопечных.

...И вот уже позади — год работы. Год, за который при активном участии коллектива, уважительно принявшего и поддержавшего А. Д. Смелякова, складывались определенные черты лица этого театра.

Какие только определения не даем мы театру! Он нам и школа, и университет. И трибуна. И кафедра. И прожектор. И советчик. И насущная потребность. И развлечение. Он отражает. Воплощает. Выражает. Зовет. Он и актерский. И режиссерский. И высокий. И поэтический. И философский...

Но в первоистоке слова театр все-таки зрелище. Все, что он с нами делает, он делает с помощью того неординарного волнения, которое мы ощущаем как праздник души — независимо от того, веселые или трагические события разворачиваются перед нами на сцене. Праздник — то, что мы испытываем чувства более яркие, сильные, высокие, чем в будничной жизни. Праздник — то, что на два-три часа мы делаемся впечатлительнее, добрее, умнее, глубже, пламеннее; видим, знаем больше... — а потом долго еще бережно несем в себе тепло и свет, к которым прикоснулись на спектакле.

Электронная библиотека altlib.ru

Если спектакль был по-настоящему театральным. Если он был праздником. Смеляков хочет создавать на сцене такой праздник. Мы запоминаем и яркую свежую форму его спектаклей, и выразительную их интонацию (часто многозначную), и волнение, сжимающее горло, пожалуй, на каждом спектакле, — разумеется, именно в те минуты, в какие хотелось режиссеру...

Из чего же складывались эти звуки праздника, из чего составляется почерк режиссера Смелякова, почерк, который, похоже, обещает стать почерком нашего краевого театра драмы? И чего еще в нем не хватает?

Пока трудно и, видимо, рано говорить о его репертуарной линии или о ведущей теме. Конечно, как и каждый режиссер, Смеляков стремится найти для своего театра свежий драматургический материал. И не без спортивного азарта радуется тому, что вот, скажем, удалось на Алтае первыми на русском языке поставить поэтическую, умную и не лишенную юмора детскую пьесу «Сердце матери». Не ждал он накопления чужого опыта и ставя еще в Белоруссии «Таблетку под язык» А. Макаенка, которую повторил в Барнауле, а уже в качестве главного режиссера— включая в репертуар пьесы «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова, «Я всегда улыбаюсь» Я. Сегеля, «Ситуация» В. Розова. Очень и очень редко идут в театрах и «Зимняя сказка» Шекспира, и «Первый день праздника» Н. Хикмета (последняя вообще за свою историю поставлена в нашей стране, может быть, во второй или третий раз). Но иной режиссер, подыскав «незаигранную» пьесу, этим свое стремление к свежести и удовлетворяет — и появляется спектакль, рожденный проверенным стандартом или закрепившейся на какое-то время модой, а то и просто — более или менее добросовестно воспроизведут текст и ремарки, не ломая голову над формой...

Смеляков — из тех неспокойных режиссеров, которые могут дать сценическую жизнь пусть свежей, пусть полузабытой пьесе только когда прочтут в ней дорогую, близкую им совокупность мыслей и когда преломят материал через призму его видения сцены. В этом отношении характерным и благодарным материалом оказалась комедия Макаенка «Таблетку под язык», поставленная Смеляковым в мае прошлого года — еще до принятия театра.

Таблетку под язык то и дело вынужден класть председатель колхоза Каравай (его мягко, любовно играет засл. арт. РСФСР Д. Г. Паротиков): кроме бесчисленных вопросов, которые ставит перед руководителем в пору уборки большое сложное хозяйство, не обходит председателя, кажется, и ни одна личная проблема колхозников и просто людей, проживающих на территории колхоза. Но главными из этих проблем оказываются — связанные с судьбами молодых людей. Не молодежи вообще, а каждого из молодых в отдельности. Ибо, скажем, Иван Швед (арт. Е. С. Поплавский) в общем-то одинаково не знает, ни зачем живет и работает в селе, ни — что будет делать в городе, куда так рвется. А вот Тамара (арт. Л. П. Копкина), которая в комическом, но все-таки действительно отчаянии громко уверяет всех, что чего-то «не было! не было!»,— Тамаре и в самом деле вроде одно спасенье — уехать в город, где можно уйти от глаз односельчан и от их пересудов, затеряться в многолюдье. Понимая, как тяжело председателю терять каждого работника, простовато-наивная, чрезвычайно энергичная, самоотверженно любящая дочку Тамару мать-одиночка Оксана (засл. арт. РСФСР С. П. Талалаева) обещает поработать и за дочь... А кто заменит Юрку (арт. Н. Н. Сараев) — такого сообразительного, надежного молодого бригадира? — ведь Каравай, поди, в нем преемника своего видел, — а вот хочет парнишка учиться совсем другому делу. Обнаружил в себе другое призвание... Тут не каприз, тут все серьезно, тут жизнь большая человеческая...

Вельможный «представитель» Ломтев (арт. К. И. Челомбитько) и пенсионер Кренделев (арт. Б. К. Мезрин) — рутинер, по привычке цепляющийся за формулировки, когда-то бившие без промаха, — видят только одну сторону событий: «несознательность» молодых, их «нелюбовь» к земле. А суетливый и добрый Юркин дед Цибулька (засл. арт. РСФСР Л. И. Двоеглазов), больше всех пытающийся вроде бы помочь председателю, вдруг начинает проникновенно объяснять, почему надо Юрку отпустить... Основательно и деловито врастает в дела хозяйства дипломник-зоотехник Василь (арт. В. Н. Полетаев) — так его мать, учительница (арт. М. И. Бурова), уговаривает в городе устроиться и даже пытается найти содействие в этом у того же Каравая...

Такие вот сложные будни председателя колхоза пришли на сцену. А жанр — комедия... Смеляков справедливо усмотрел здесь, судя по постановке, даже лирическую (при всей ее остроте и публицистичности) комедию. Причем сумел передать и заложенную в пьесе человечность, и ее направленность против бездумного, косного подхода к проблемам белорусского села и вообще к жизни.

К раскованности мысли зрителя ведет все художественное (засл. арт. Каз. ССР Б. М. Астахов) и музыкальное (комп. Б. Носовский) решение спектакля. Персонажи, над которыми мы будем смеяться или которые вызовут у нас улыбку, — появляются на сцене сначала вдалеке среди холмов в виде пеших или моторизованных кукол, уже «заявляющих» образ. Движение каждого сопровождается музыкой в его характере. И когда через калитку во двор правления входит, врывается или важно вступает персонаж «натуральный» — мы его воспринимаем как уже знакомого.

Лирическую «партию» в эмоциональном строе спектакля в том же ключе поддерживают веселые солнце и рожок месяца, сменяющие друг друга по кругу на высоком будто шелковом то светлом, то темном небе. А сатирическая нота органично и потому ненавязчиво подкрепляется горластыми петухами с длинными — белой гармошкой — шеями.

(Насколько все это изобразительнее, ярче, чем того же жанра макаенковская «Левониха на орбите» в постановке этого же театра, осуществленной десять с небольшим лет назад!)

Неожиданно и смело решил театр одну из технических сложностей: кабинет председателя колхоза выезжает на сцену из-под поднимающегося ближнего холма, как из-под крышки шкатулки. (Возможная здесь прямолинейная ассоциация, правда, несколько отягощает находку).

Взявшись показывать жизнь в ее многоплановости, Смеляков умело пользуется приемом параллельного действия. Например, пока Каравая в его кабинете захлестывают кадровые беды, в

приемной студент-дипломник Василь налаживает отношения с секретаршей — и эта мягко проведенная параллель, которая нас нисколько не отвлекает от главного действия, обещает нам, что миссия матери Василя вряд ли увенчается успехом. (Хотя дело может, конечно, повернуться и так, что, наоборот, секретарша отсюда за Василем подастся... Жизнь сложна, и театр, пожалуй, допускает и такую возможность).

А следом — как бы противоположный прием: только что прибывшая по назначению в колхоз библиотекарь Вера Неведомая (арт. Л. В. Марина) в ожидании, когда ей здесь, наконец, смогут уделить внимание, стоит в кабинете у стены неподвижно — однако как выразительны ее чуточку вызывающие, озорные глаза, как остро оценивают они все происходящее. И мы видим: то, что ей не нравится, Вера уж постарается переделать, она сюда — не на отработку, а — жить.

Возможно, упуская частности, не слишком тщательно отрабатывая нюансы в решении актерами образов (уж коли мы вспомнили «Левониху на орбите», там полноте внутренней жизни персонажей уделялось больше внимания), режиссер жестко следит за развитием тональности спектакля в целом. Если в начале персонажи — как это обычно бывает и в реальной жизни — прячут свои глубокие чувства и мысли за шуткой или грубоватостью, еще плохо видят и знают друг друга, то к концу постепенно грубоватая шутка или хитреца уступают место доверительности, лиризму, взаимной исповедальности, какая приходит, может быть, в минуты самых высоких взлетов дружеской близости, — и свою исповедь театр обращает в финале спектакля непосредственно к залу. А исповедь эта: идите, ребята, учитесь, находите свое место в жизни, а мы вас с тылу прикроем.

Хорошая, добрая, человечная позиция. Позиция ответственности семьи и руководителей колхоза за судьбу каждого юноши или девушки, вступающих в жизнь.

Но ведь произносят эти проникновенные слова не только Юрке, а и полному залу дед, который уже мало чем — разве жизненным опытом своим, мудростью своей может поддержать внука, и колхозный председатель, которому некого послать погрузить покупателю выращенный в колхозе картофель!..

Так, может, не такие уж оторвавшиеся от жизни рутинеры и ханжи эти Ломтев и Кренделев? Но почему же мы, зрители, с такой болью воспринимаем эту самоотверженную председателеву доброту, почему так остро чувствуем, что ему нужно помочь?

Так эмоциональный подтекст расширяет содержание исповеди. Спектакль заставляет думать. И призывает не к односторонней, а к взаимной ответственности.

Такое усложненное, дополненное добавочными акцентами и ассоциациями, увеличивающее емкость сценической минуты решение спектакля очень характерно для Смелякова. Откровенно просто — и интересно осуществлено это в «Первом дне праздника» (режиссер Г. А. Абаджан, режиссер-постановщик А. Д. Смеляков), успевшем пройти до закрытия сезона на стационаре всего несколько раз.

Спектакль начинается строгими, напряженными аккордами музыки, высвеченным в темноте сцены задумчивым портретом Назыма Хикмета, стихотворением Ярослава Смелякова «Назым», звучащим в проникновенно приглушенном исполнении постановщика... Что это? — поэтизированная справка театра о драматурге?

Но вот из репродукторов звучат стихи:

...А поздней ночью все равно
в погашенном отеле
его глаза через окно
на Турцию глядели...

На сцене слабо светлеет, мы видим небольшую комнатку с книгами на полках; поднимается из-за стола одинокая фигура мужчины, он закуривает, неторопливо идет по лестнице на второй этаж, задумчиво останавливается. Смотрит куда-то?

Неизбежная ассоциация со стихами заставляет дрогнуть сердце. Потом окажется, что мужчина — далеко не Хикмет. А что делал, куда и зачем ходил этот не-Хикмет — остается непонятным. Вероятно, вполне достаточно было портрета. Он со стихами тоже волнует. Подозреваю, что такие «двусмысленности» подтачивают эмоциональное воздействие спектакля, стирают созданное было настроение, отнимают какое-то время на необязательные здесь упражнения в логике и отвлекают этим внимание от происходящего на сцене. И все-таки... Все-таки, может быть, именно это вроде бы нарушение элементарных основ цельности художественного образа подспудно заставляет нас в течение всего спектакля, наблюдая происходящее на сцене, помнить и мысленно видеть еще и автора пьесы — во всей его глубине, смелости и... боли за людей? Эта линия закрепляется в финале спектакля повторением концовки стихотворения. Тут можно с режиссером спорить, можно понять и принять, в любом случае, однако, нельзя недооценивать интересный поиск способов обогащения спектакля, насыщения зрелища дополняющими, развивающими его мыслями.

Такие поиски можно наблюдать и в других постановках Смелякова. К драматической балладе Я. Сегеля «Я всегда улыбаюсь» (эта поэтичная постановка А. Д. Смелякова и В. Д. Еременко посвящена гуманизму советского воина, противостоящему бандитской морали фашистов) одному из местных писателей был заказан для финала текст о барнаульцах, павших в Великой Отечественной войне. Текст звучал в исполнении Смелякова. И песня, написанная заведующим музыкальной частью театра композитором М. Ф. Стариковым на слова Г. Панова, наряду с остальной выразительной музыкой обусловила добрую половину эмоционального воздействия спектакля, продолжила и дорассказала открытую жизни светлую улыбку Миши Капустина — Н. Н. Сараева.

Ставя «Зимнюю сказку» Шекспира, А. Д. Смеляков создает и берет на себя роль рассказчика-устроителя сказки. Правда, текст, скомпонованный из реплик различных персонажей, хора и шекспировского сонета, в устах сказочника не всегда достоверен, а сам Архидам (это имя перешло к волшебнику-рассказчику от одного из упраздненных постановщиком персонажей), пожалуй, вторгается в действие или присутствует на сцене не всегда по необходимости. Но участие в спектакле этого нового Архидама остроумно обосновывает разножанровость и нелогичность пьесы: теперь они как бы порождены волей сказочника, который в начале спектакля своим вол-

шебным ключом отворяет дверцы шкатулки — ворота дворца — и потом прикосновением того же ключа оживляет неподвижные фигуры обитателей дворца, чтобы пустить их в действие сказки. А иногда произвол сказочника по ассоциации бросает дополнительный свет на многие поступки ослепленного державным самомнением короля Леонта.

Необычайно весомую роль во всех работах А. Д. Смелякова играет зрительный образ спектакля. Можно было бы много говорить об удивительно ярком, привлекшем немало новых зрителей оформлении «Зимней сказки» (художник В. Б. Озерников). Так же, как действие сказки построено на борьбе низменного и возвышенного, на контрастах поэтичной любящей доброты и мрачной подозрительности, как каждый образ соткан из противоречий (Леонт у засл. арт. РСФСР Д. Г. Паротикова в сущности незлой, но становится безжалостно жестоким, когда отождествляет себя с государством и приравнивает мнимые проступки по отношению к своей персоне — к государственному преступлению; а, скажем, безудержно крикливая, командующая мужем, не признающая никаких этикетов и авторитетов, идущая всегда напролом придворная дама Паулина в исполнении засл. арт. РСФСР С. П. Талалаевой самоотверженно добра и несокрушимо верна в своих привязанностях), так и художественное оформление делит единый мир на два — и в одном царит праздник изящно строгих линий, чистых, как лепестки портулака, красок, а в другом— краски и линии грубы, как крапивный мешок. Зато, в отличие от первого, в этом втором мире добро так и выглядит добром, а зло — злом, и когда притворяется — то как бы для порядка, соблюдая известные правила игры.

Сцена активно используется в глубину, и для каждого «пояса» постановщик находит особые выразительные средства, сценический язык: вспомните трогательную живую статую королевы Гермионы (арт. Л. В. Арцебасова) за колоннами и иронично-патетическую пантомиму в беседке в глубине сцены; разумеется, там должно говорить не лицо, а руки, тело — и в то же время на расстоянии детали лица не будут отвлекать наше внимание от языка жестов.

А как много потерял бы в эмоциональном воздействии спектакль «Я всегда улыбаюсь», если бы не было там в финале этой незабываемой мемориальной стены (художник засл. арт. Каз. ССР Б. М. Астахов) с ее волнующе найденным суровозадумчивым серым цветом, сдержанным освещением... Даже угол поворота стены и теряющийся край ее найдены эмоционально так точно, что перехватывает дыхание...

Очень своеобразно и активно участвует в действии талантливое и точное художественное решение «Первого дня праздника» (снова Б. М. Астахов). Главная тема пьесы — разобщенность людей, трагическое, безнадежное их одиночество в хищническом мире частной собственности. И вот перед нами раскрыты три этажа дома ростовщика Сейфуллы-эфенди и улица с двух сторон дома. (Следует заметить, что постановщикам еще не были знакомы впечатления Хикмета о постановке другой его пьесы: «Декорации некоторых сцен удачны, в частности... где есть смешение интерьера с экстерьером». О том, что такое решение возможно для «Первого дня праздника», Хикмет не смел мечтать: даже предусмотренные в ремарках и пьесе два этажа особняка он предполагал открывать зрителю в основном по частям).

Остроумное пространственное решение дает возможность при всей многочисленности мест действия не только вести спектакль без единой перестановки, но и подчеркнуть разрозненность, разорванность жизни обитателей этого дома, одиночество каждого здесь.

Одинок Шади (засл. арт. РСФСР Д. Г. Паротиков) — старший, от первого брака сын Сейфуллы, — почти стройная, строгая фигура, черные очки, тяжелая трость — наверное, единственный его спутник, — и это одиночество дополняется мрачноватой сдавленностью его кабинета в правом нижнем углу сцены — угол, всегда воспринимаемый приглушенно. И деловитость, осмысленность этого кабинета со столом и некоторым количеством книг так отчуждена от остальных — праздных — комнат и вестибюлей...

А как помогает и драматургу и артисту выразительный балкончик на третьем этаже слева, куда то и дело спасается и откуда в страхе и одиночестве своем наблюдает за жизнью дома горбун Рюстэм (арт. Г. А. Абаджан) — сын Сейфуллы от второго брака...

Комната же сестры Рюстэма — избалованной, ото всего береженной Айтэн (арт. Л. В. Арцебасова) — начинает «играть» в спектакле еще до появления своей хозяйки. Тахта, ковер, трюмо, тумбочка с безделушкой, двери на балкон и в вестибюль — все это требует присутствия призадержавшейся на празднике Айтэн не меньше, чем находящееся в одной из соседних комнат тело ее только что скончавшегося отца. А после сцены обмана неопытности Айтэн женихом с нами говорит отгородившая от нас комнату очень естественно опущенная циновка-штора.

Так же активно участвуют в решении главной темы спектакля двери и стены, за которыми лежит покойник и мечется раненой тигрицей его вдова Ферхундэ (засл. арт. РСФСР С. П. Талалаева); левая сторона кабинета Шади, у которой, подслушивая, подстерегает свою выгоду няня Пакизэ (засл. арт. РСФСР С. П. Иванова)...

А как работает перегородка на балконе перед комнатой Сейфуллы во время обмена колкостями Шади и Ферхундэ! Шади говорит за этой перегородкой вслух как бы сам с собой, он не обращается к Ферхундэ, стенка подчеркивает: он и видеть ее не хочет. Темперамент Ферхундэ готов снести прочь эту стенку, чтобы нанести в ответ открытый удар ненавистному Шади, только рядом за другой стеной покойник, а наследство еще неизвестно как будет разделено — и Ферхундэ обращается к тонкой, но явно глухой перегородке с призывом быть деликатнее...

(Этот же прием, но «наоборот», применен в «Ситуации», поставленной уже работавшим со Смеляковым В. Н. Гливенко: там мать и сын, занятые каждый своим делом, находятся в самых дальних концах квартиры, им приходится прилегать на голоса, чтобы слышать друг друга — но все эти стены, комнаты, коридор нисколько не разъединяют их, не мешают им чувствовать друг друга рядом).

На новую ступень поднимается в «Первом дне праздника» и применение метода параллельного действия. Иногда действие на сцене происходит одновременно в трех, четырех, а то и пяти «точках» — но это не мешает нам ориентироваться в спектакле, потому что постановщик управляет происходящим на сцене (и нашим

вниманием!), как опытный дирижер — симфоническим оркестром: выделяя то одни, то другие группы инструментов или темы и не теряя из поля зрения роли остальных.

А попутно режиссер легко и непринужденно опровергает ходячий тезис, будто Хикмет «боится четвертой стены». Эту четвертую стену Смеляков часто и сам с удовольствием ломает. А тут он почти вызывающе игнорирует зал: Зехра и Шабан, вглядываясь в сторону, где сидят зрители, видят и здесь лишь то, что происходит в пьесе: кофейню, в которой так здорово пляшут мужчины. И решение это продиктовано отнюдь не стремлением соригинальничать, поспорить с драматургом. Реплики, которые в другом случае режиссер обратил бы к залу, в пьесе есть. (Хотя бы у Шабана). Но ведь постановка, в которую пьеса вошла лишь составной частью, — задумана как рассказ театра о Хикмете, о том, как он препарировал турецкую жизнь, — и обращаться непосредственно к залу здесь можно было только со стихами о Хикмете, но не с текстами, написанными самим Хикметом.

Обращают на себя внимание и ярко выраженные эмоциональность и интонационная окрашенность многих мизансцен, их синтетичность. О некоторых из них, в несколько иной, правда, связи, мы уже говорили. А сейчас хочется напомнить один вроде бы проходной эпизод в спектакле «Я всегда улыбаюсь». Казалось бы, что нового, интересного внесешь в такую ситуацию: понравившиеся друг другу юноша и девушка идут к фотографу. Но звучит лиричная, на легкой улыбке музыка М. Старикова, Миша Капустин (арт. Н. Н. Сараев) и Нателла (арт. О. Л. Кириченко) пускаются в свою прогулку в жизнь по движущемуся навстречу кругу — и ноги их, кажется, улыбаются и что-то напевают, радостно нащупывая дорогу к счастью, и приглядывание их друг к другу — восторженное у Миши и ласково-задумчивое, вынашивающее какую-то мысль — у Нателлы — тоже каким-то образом вписывается в музыку, сливается с ней... И вот маленький, незначительный вроде эпизод становится одной из эмоциональных опор спектакля, определяющих его поэтичную интонацию.

(Нельзя не заметить, как окреп за этот сезон талант М. Старикова. Его музыка не только определяет тональность спектаклей Смелякова, она полноправный участник драматического действия. Участник, берущий слово только тогда, когда оно действительно необходимо. Зато потом невозможно представить себе спектакль без этого слова.

Композитор, смущенно улыбаясь, объясняет:
— Просто режиссер четко ставит задачу).

А вспомните, как просто и остроумно, с какой естественностью показывали нам в «Первом дне праздника», что делает служанка Зехра с электрическими пробками в передней, хотя мы не видим ни передней, ни пробок, ни того, что там делает Зехра! Всего-то и понадобилось — пощелкать два раза выключателем — в первый раз, чтобы убедиться: свет горит, второй же — что не горит.

Много нового вошло за этот год и в работу актеров труппы. Похоже, что определенные трудности возникли перед некоторыми из тех артистов, которых принято называть характерными. На первое место от спектакля к спектаклю постепенно приходит глубокий анализ роли, раскрытие внутренней сущности характера. Зрители обратили внимание и на то, что игра актеров стала культурнее, что внешние проявления эмоций персонажа театру хочется обеспечивать внутренним состоянием актера. В этом отношении особенно порадовал родившийся к концу сезона «Первый день праздника». Новой ступени в творческом росте достигает здесь один из ветеранов театра засл. арт. РСФСР Д. Г. Паротиков. Всегда выделявшийся высокой творческой дисциплиной, он как правило приносил на сцену вместе с тщательно подготовленной ролью и улавливаемое зрителем свое чувство ответственности за нее (среди немногих исключений чаще всего вспоминается мягкая добрая работа его в спектакле З. И. Китая «Что к чему»). И вот полная погруженность в глубоко продуманный, по крупице выношенный образ — совершенно, кажется, свободная от всего личного, от театральной технологии. С первых секунд и до последней это — Шади Назыма Хикмета, «убивший» в себе и режиссера и исполнителя и потому — достоверный, волнующий, убедительный и в достоинствах и в недостатках.

Хотя Шади — самый замкнутый, холодный, отчужденный из персонажей пьесы, исключая разве что его мать (арт. М. И. Бурова), Паротикову удалось очень полно и емко передать отношение своего героя к каждому, с кем тот общается, и дать зрителям ощутить течение внутренней жизни персонажа. Шади Паротикова все время в каком-нибудь своем деле, что-то обдумывает, решает (в образе Каравая это получалось не всегда). И мы чувствуем, что передаваемое каждым движением, каждым невидящим взглядом неуважение Шади к Ферхундэ и ее потомству объясняется не только тем, что она «украла место» его матери, но и никчемностью существования этих людей, отсутствием у них какого-нибудь порядочного дела. Высокая профессиональность этой работы Паротикова проявилась и в стойкости, с какой Шади умеет сохранять свое достоинство. Даже падая с пробитой головой по крутой лестнице со второго этажа, он, кажется, больше всего удивлен тем, что кто-то мог, смел так с ним поступить.

Передал актер и второй подтекст достоинства Шади: каждое движение сына Сейфуллы дышит ледяным равнодушием к людям, они существуют для него в сущности только в одном функциональном качестве: постольку, поскольку могут помочь ему добиться намеченного положения в обществе. Эта работа Д. Г. Паротикова — из тех, которые, как выражался Плучек, «приносят успех драматургу».

Интересна и во многих отношениях показательна для взятого театром курса игра нового актера Г. А. Абаджана. Образ Рюстэма (младшего брата Шади) в «Первом дне праздника» (Абаджан, напомню, является здесь вторым режиссером) выстроен им вдумчиво и очень выразительно, через своеобразную подчеркнутую пластику, несущую всегда четкий подтекст. Движения Рюстэма то скованны, то суетливо разболтанны; при встрече с нажимом или с тенью какой-нибудь опасности — пугливый, «загипнотизированный» взгляд; почти крабья боковая походка в отступлении и бегстве; мучительная натужность и комичная серьезность при попытках пофилософствовать, осмыслить что-то... Точный сценический анализ роли подкрепляется определенной, пусть и ущербной, эмоциональностью. Иногда Рюстэм почти трогает своей беспомощ-

ностью, наивностью, детской серьезностью «полуидиота» и тоской по «близости другого человека». Что-то остро роднит этого богатого пасынка жизни с персонажами горьковских пьес — таких, как «На дне», «Последние», «Варвары»... Нет, он не похож ни на кого из них в отдельности, но нас, пожалуй, не удивило бы его появление рядом с ними. И понять его нам помогает знакомство с ними.

Интересная эта работа — не случайное «попадание». Это развитие того же метода, который в шекспировской «Зимней сказке» подарил нам в исполнении Г. А. Абаджана совершенно противоположный, ренессансный характер — стремительный, веселый, лукавый и общительный, полный энергии и любви к жизни. И «проходная» роль Автолика была полностью направлена на раскрытие определенной мысли, определенной «музыкальной партии» в спектакле, в пьесе, в творчестве драматурга.

Острее стала выделять внутренний смысл своих ролей заслуженная артистка РСФСР С. П. Талалаева. Ее простодушная, угловатая колхозница, мать-одиночка с натруженными руками и виноватыми перед дочкой и перед председателем глазами в спектакле «Таблетку под язык» воспринимается не просто как оригинальный, в меру избранного театром жанра шаржированный, но и все-таки узнаваемо выхваченный из жизни характер со всеми его социально-историческими, бытовыми и психологическими корнями.

Правда, в «Зимней сказке» придворная дама Паулина Талалаевой создает антитезис линии Леонта только тем, что убежденно и страстно воюет за правду, за естественность, за справедливость и доброту, против самодурства. Но вот в «Первом дне праздника», при всей яркости и темпераментности образа Ферхундэ в исполнении С. П. Талалаевой, эта роль построена уже определенно аналитически. Есть в этой работе и обличение Ферхундэ-хищницы, есть и порывы любви к сыну, есть те энергия и сила характера, которые напоминают нам: горьковская тема силы и слабости человеческого духа, способности к любви и к убийству заложена Хикметом в образы Ферхундэ и Рюстэма.

К сожалению, на этот раз анализ пока не завершается синтезом. У актрисы здесь не чувствуется обычной уверенности, убежденности, цельности. Очевидно, отсутствием цельного ощущения образа у исполнительницы объясняется, например, излишне настойчивое шаржирование слез Ферхундэ — артистка работает здесь на общий рисунок спектакля несколько абстрагированно, в чем-то сминая правду намеченного характера.

Спектакли производят впечатление, что довольно легко входит в предложенный театром курс интересный новый артист В. Л. Стужев. В постановке «Я всегда улыбаюсь» он, если здесь уместно так выразиться, легкой рукой нарисовал в небольшом эпизоде жестокого, умного, хитрого, сильного врага. (Хотя, конечно, за этой «легкостью» был серьезный труд). А в «Первом дне праздника» артист запомнился нам в хорошо сложившемся дуэте с Л. В. Арцебасовой (Стужев здесь играет жениха Айтэн — Фируза). Дуэт радует полнотой сценического общения, выраженностью характеров. Каждая модуляция голоса Айтэн несет емкую информацию — тут вся биография этой девушки — избалованной, немножко капризной, но внутренне чистой и очень мало знающей о жизни. И каждый звук задевает какие-то струны в душе зрителя. (Кое-кто из зрителей помнит эту «новую» актрису по «Обыкновенному чуду» первых лет нашего ТЮЗа).

Игра Стужева при всей «гибкости» поведения Фируза очень достоверна. Его Фируз, безусловно, по-своему искренне любит Айтэн — но только Айтэн богатую; его переходы от благовоспитанности к наглости, от теплоты к цинизму звучат органично и с соблюдением актерского такта.

Поединок хитрости и циничности мелкого хищника с осторожной чистотой и неискушенной доверчивостью Айтэн проводится эстетично и правдиво. Но — странное дело! — при всем обаянии и внутренней беззащитности Айтэн, при всем том, что характеристика, данная Арцебасовой этому образу, глубоко нас волнует, мы приглушенно воспринимаем случившееся с Айтэн; мы не так уж и остро переживаем за нее! И Фируз вызывает не такое уж сильное негодование. Мало этого — Айтэн вдруг (чего в пьесе не было!) включается в общую охоту — в поиски оставшихся после Сейфуллы драгоценностей!

Думается, что и этот «ход» и приглушенность отношений Айтэн с Фирузом идут от невооруженности Айтэн Л. В. Арцебасовой какой-нибудь позицией. Мы чувствуем, видим, какая она, Айтэн, но Айтэн почти ничего не делает, чтобы хотя бы негативно, хотя бы выраженным своим бездействием, противопоставленным не нравящимся ей действиям других персонажей, попытаться отстоять или хотя бы доказать свое «право» быть такой — изнеженной и неприспособленной.

Точно так же недостает чуточку более активного волевого начала доброте и гордости Гермионы в «Зимней сказке». (Хотя она в определенные моменты и волнует нас до слез).

Возможно, есть тут один резерв, о котором нам еще предстоит поговорить.

В числе «новичков» на сцене Алтайского государственного театра драмы в этом сезоне мы увидели засл. артистку БССР С. П. Иванову. У нее — отличная от других в театре прочно сложившаяся школа. Может быть, преждевременно говорить об изменениях, которые произошли за сезон в сценическом почерке Ивановой. Слишком различны и спектакли, и роли, в которых мы видели ее. Но нельзя не заметить, что если в балладе «Я всегда улыбаюсь» она, твердо войдя в характер своей героини — грубовато-человечного врача, видимо хирурга, — живет ее задачами, ее действием и общением с партнером, то в «Первом дне праздника» каждое движение, взгляд ее Пакизэ, каждая интонация в разговоре подчеркнуто соотносятся с построением спектакля в целом, с главной темой пьесы. Образ няни — Пакизэ — четко иллюстрирует мысль о растлевающем влиянии хищнической морали богатых на соприкасающихся с ними оторванных от своего класса бедняков.

Нацеленнее стали работы артиста С. М. Дубинина. Его генерал Шредер в «Я всегда улыбаюсь» убедительно живет в предложенных пьесой обстоятельствах: актер передает и болезненное самолюбие и растерянность нацистского вояки, не могущего смириться с поражением, — и разоблачает злобную мелкую мстительность генерала, который в бессилии перед всечеловеческой добротой совершенно мальчишки, Миши Капустина, пытается отмыться от пережитого унижения Мишиной кровью.

А в «Первом дне праздника» С. М. Дубинин миру эксплуататоров, миру взаимной ненависти, подозрительности, алчности убедительно противопоставляет глубоко народный образ огородника Шабана с его мягкой добротой, простотой, открытостью, готовностью к самопожертвованию. (Хотя, нужно сказать, изложение Шабаном своих взглядов и поучительных историй звучит излишне назидательно).

К числу знаменательно удачных актерских работ сезона, в которых внутренняя жизнь образов сливается с философским, идейным значением их в постановке, на мой взгляд, следует отнести дуэт О. Л. Кириченко и Г. Т. Обухова в «Первом дне праздника». Правда, актеры еще не очень твердо закрепляют найденное, но в лучших спектаклях образы и взаимоотношения служанки Зехры и электромонтера Джемаля создают контрапункт пьесы, вводят в нее тот здоровый и светлый мир людей, ради торжества которого и с позиций которого Хикмет разгребает грязную нору ростовщика Сейфуллы и иже с ним.

Таким образом, в работе большинства актеров видны стремление и умение выразить главное в образе, умение сыграть на идею спектакля.

Подводя итоги всему сказанному, можно с удовлетворением отметить, что за последний год коллектив Алтайского государственного театра драмы во многих отношениях вырос. Лучшие спектакли сезона отличаются емкостью мысли; эстетичностью; точностью, действенностью художественного и музыкального оформления. На сцену пришли самобытные, острые, выразительные мизансцены (плод коллективного творческого поиска). Спектакли стали ярче, зрелищнее; театр умело вызывает у зрителей желаемые эмоции, побуждает к размышлению.

О значительности сделанного говорит возросший интерес зрителей к спектаклям. Существенно повысилась посещаемость, в ряды «театральной публики» вовлечено немало новых людей, что очень важно.

Можно только догадываться, сколько энергии, целеустремленности, воли потребовалось всему коллективу театра и в первую очередь главному режиссеру, чтобы за очень небольшой в общем-то срок добиться таких радующих результатов.

Но в ходе этой «битвы в пути», битвы за обновление лица театра произошло и нечто такое, что оставляет и после самых интересных спектаклей чувство смутной неудовлетворенности.

При всех интересных ее приобретениях, актерская игра стала, как правило, слишком откровенно подчинена главной мысли спектакля. Образам часто недостает каких-то «обертонов» для того, чтобы мы больше верили в них как в личности, чтобы более всерьез воспринимали их индивидуальные действенные задачи. Недостает автономного, что ли, общения между персонажами — кроме работающего непосредственно на «главную линию», на мысль.

Можно, конечно, объяснить все это тем, что, мол, театр — «режиссерский» и «театр мысли»,— и тем будто бы снять вопрос. Но дело, к счастью, кажется, не в этом. Многое говорит за то, что коллектив не ставит под сомнение слова того же Хикмета: «В театре человек — это все»; «В театре меня раздражает то, что мешает видеть человека».

Видимо, что-то в снижении удельного веса актера в общем арсенале выразительных средств театра объясняется сложностью освоения актерами углубленной работы над ролью.

А возможно, и то, что, достаточно выразительно высказав свою позицию воображаемому оппоненту через четкие характеристики образов, через мизансцены, через образ спектакля в целом, театр просто уже не замечает или не так остро озабочен тем, что какому-то образу на сцене недостает полноты жизни, полноты самоощущения личности — а отсюда и полноты личной заинтересованности в борьбе, воли к борьбе.

Интересно, ярко, талантливо режиссер поделился со зрителем заботами Каравая в спектакле «Таблетку под язык» — и Караваю уже не с кем и не за что особенно-то бороться, достаточно обрисовать озабоченность. Предопределила все волшебная палочка — ключ Архидама — в «Зимней сказке» — и кроме Паулины, о которой уже говорилось, одному Автолику нашлось, за что бороться, — в данном случае это оказался кошелек крестьянина. И эта не столь уж важная для пьесы личная активность запоминается. Впрочем, она вносит полноту жизни и в пьесу в целом.

Не заняла должного места борьба и в «Первом дне праздника» — тема одиночества и разъединенности, взяв верх, в какой-то мере перевела эту борьбу в план иллюстрации. А из налета иллюстративности в свою очередь проистекает несколько сниженное общение между многими персонажами.

Преодоление этого недостатка — вполне реальный резерв роста сегодняшнего нашего театра.

Еще один резерв — более внимательное отношение к актеру и тексту в процессе интересного ведь, смелого и выразительного мизансценирования.

Вспомним, например, такую сцену: Айтэн медленно поднимается по лестнице к телу отца, о смерти которого она только что узнала. В пьесе Айтэн просто выгоняет из спальни отца сцепившуюся из-за наследства родню: «Грызитесь между собой в другом месте! Уходите! Оставьте нас обоих — папу и меня!.. Выйдите вон!..»

В спектакле спальня с телом Сейфуллы не видна, Айтэн находится на другом этаже, в другой стороне дома, остальные члены семьи тоже не в спальне, а текст, написанный для спальни, сохранен. Теперь получается, что Айтэн выгоняет родню не из комнаты, а из всего трехэтажного дома. Эффектная мизансцена перебивается, смазывается нашими попытками увязать слова с реальностью сцены.

Не вполне нащупал пока театр и свою репертуарную линию. Правда, он энергично ищет ее, и не просто ищет: ведется активная работа с местными писателями, которая должна, по замыслу А. Д. Смелякова, завершиться созданием ряда спектаклей о жизни Алтая.

Это пока — впереди. Но во всяком случае верится: когда ко всему сделанному коллективом Алтайского государственного театра драмы добавится продуманный весомый репертуар, в котором будет полнокровно жить и бороться тот человек, о котором говорил Хикмет, — наш театр станет сопоставимым с ведущими театральными коллективами страны.

А желать этого мы уже вправе.

Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ

РЕРИХ НА АЛТАЕ

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. РЕРИХА)

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?»

Эти строки взяты из путевого дневника выдающегося русского художника Николая Константиновича Рериха, возглавлявшего экспедицию через горные, труднодоступные районы Центральной Азии.

Знаменитый художник горячо любил «самые синие, самые звонкие» Алтайские горы.

Особое отношение Рериха к Алтаю раскрывается в письмах В. Булгакову. «Глубоко порадовало нас Ваше сведение, что Вы — сибиряк и притом большой патриот своего отечества. Вы ездили по горам Алтайским, а Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию. Долина между Уймоном и Катандою будет местом большого центра. В Париже, когда Вы посещали наш Центр, Вы, наверное, видели мой этюд «Белуха». Там было три этюда прекраснейших высот Азийских: Канченджанга, Белуха и Эльбрус. И так, когда мы знаем, что Вы — алтаец, Вы нам еще и еще ближе».

Однако в статьях и исследованиях, посвященных Рериху, крайне скудно освещено его пребывание на Алтае.

В этой статье мы пытаемся воссоздать картину его путешествия отчасти по записям самого художника, отчасти по отзывам прессы и воспоминаниям людей, встречавшихся с Николаем Константиновичем.

В качестве базы для своей экспедиции на Алтае Рерих выбрал село Верхний Уймон. Оно расположено у самого подножия скалистого Катунского хребта и заботливо укрыто окружающими его двумя кряжами. А скала, возвысившаяся между ними, оберегает село со стороны Катуни, которая, огибая горный хребет, спешит на восток по широкой горной долине.

В Верхнем Уймоне были богатые традиции русского народного искусства. Были украшенные замысловатой резьбой и типичной русской травчатой росписью избы. Сельчане носили богато вышитые орнаментом народные костюмы. В крестьянской среде бытовали легенды, песни, частушки.

Это обстоятельство вместе с соседством древних курганов и близостью Белухи, которая венчает собой Катунский хребет, делало Верхний Уймон особо интересным для научно-художественной экспедиции Рериха.

Среди старшего поколения жителей села можно найти людей, встречавшихся с Рерихом. Их рассказы обычно выразительны и живы, чему способствовала, безусловно, яркость впечатлений от личности самого путешественника.

Еще находясь далеко от Алтая, пройдя с экспедицией до Урумчи, Николай Константинович заносит в дневник: «И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны».

29 мая 1926 года экспедиция Рериха вошла на территорию Советского Союза в непосредственной близости от Алтая.

«Рерих пришел из Индии на караванах через Тянь-Шань. Уже два года путешествовал. У озера Зайсан ступил на нашу землю. До Омска приплыл документы получать. Потом в Москву ездил. Из Москвы сюда приехал...»

Так рассказывает Серапион Атаманов, 75-летний старожил села Тихонького, стоящего рядом с Верхним Уймоном.

Маршрут экспедиции в этом рассказе обозначен правильно. Из Москвы на Алтай Рерих и его спутники выехали 22 июля. С Николаем Константиновичем были его жена Елена Ивановна, сын Юрий, журналист Морис Михайлович Лихтман с супругой Зинаидой Григорьевной Фосдик, ассистент Юрия Николаевича ученый тибетец Геген, рабочий экспедиции ладакец Рамзана.

26 июля экспедиция прибыла в Новосибирск. А 27 июля отправилась пароходом вверх по Оби в Бийск. В своем дневнике Николай Константинович записал:

«Во все небо стояла радуга. И не одна, но две. И в радужные ворота устремилась широкая Обь».

Стояла жаркая, знойная погода, и путешественники, особенно Елена Ивановна, страдали от жары. Сутки они пробыли в Барнауле, ожидая парохода. В Бийск приехали 30 июля. Здесь на-

Экспедиция Н. Рериха на Алтае.

няли возниц, лошадей, погрузили багаж на четыре брички. На следующий день отправились вглубь Алтая. Николай Константинович, Юрий и Лихтман ехали верхом. Дорога шла через села Красный Яр, Алтайское, Баранчи, Таурак, Мариинское, Черный Ануй, Муту, Усть-Кан, Абай, Юстик, Усть-Коксу.

За селом Мариинским, после перерыва, Рерих записал в дневнике: «А когда перешли Эдигол, расстилалась перед нами ширь Алтая. Зацвела всеми красками зеленых и синих переливов. Забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в рост всадника. И даже коней здесь не найдешь. Такого травяного убора нигде не видали».

Путь был нелегкий. Постоянно шли дожди, дороги были плохими. К тому же главный возница не знал дороги. Неважными оказались и лошади. С ночлегами тоже было трудно. В Муте и Усть-Коксе ночевали на столах. В Баранче нашли приют у заведующего кооперативом Бочкарева, в Усть-Кане — у пожилой учительницы, которая много рассказывала гостям о том, как она в молодости вместе с единомышленниками «пошла в народ», в деревню, с идеей нести людям просвещение. В Абае путешественники остановились у мараловода Романова, который достал для них нового проводника, свежих лошадей, 5 бричек.

В Усть-Коксе Рерих впервые мог увидеть главную реку Горного Алтая — Катунь. Он записал: «Катит камни — катунь настоящая. Катунь — по-тюркски — женщина».

На седьмой день после выезда из Бийска, переправившись на пароме через Катунь, экспедиция прибыла в Верхний Уймон. Здесь остановились у Вахрамея Семеновича Атаманова.

О нем стоит сказать подробнее. Очень возможно, что имя Вахрамея Атаманова было известно Рериху, долгие годы состоявшему членом Русского Географического общества. Вахрамей Семенович был известным проводником. Стал им еще в 1905 году. Сопровождал в горы многих людей. Водил исследователя Алтая и Белухи профессора Томского университета В. В. Сапожникова. В 1909 году показывал Алтайские горы художнику Арбунову, который здесь писал горные пасеки, сцены труда крестьян. Часто Вахрамей Атаманов сопровождал к Белухе алтайского художника Гуркина. Бывал проводником также в гостях у художника в его доме-мастерской в Аносе. Вахрамей Семенович славился как врач-самоучка. По медицинским книгам и журналам, которые он выписывал, Атаманов достиг достаточных знаний, чтобы вылечивать не только простые, но и сложные заболевания. Делал и операции. Особенно хорошо знал целебные травы, корни, цветы. Любопытно, что в 1928 году к нему приезжали московские ботаники для уточнения названий и лечебных свойств алтайских растений.

Интересную характеристику Атаманову дал Рерих: «...Он знает руды, знает и маралов, знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и цветки. Это уж неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветки и где затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И, до самой седой бороды набрав целый ворох многоцветных трав, он просветляется ликом и гладит их и ласково приговаривает о их полезности. Это

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Дом, где жил Н. Рерих.

уж Пантелей Целитель — не темное ведовство, а опытное знание».

Между Рерихом и Вахрамеем Семеновичем образовались близкие и сердечные отношения. Когда художник работал в своей комнате, Вахрамей единственный мог без приглашения заходить к нему. Рериху, безусловно, он был близок знанием горной природы и тем, что он являлся живым прототипом образа Пантелея Целителя, которого Николай Константинович написал уже в 1926 г. После, в Гималаях, Рерих не забывал своего алтайского друга и снова возвращался к теме народного целителя. Вариант этой темы находится теперь в Новосибирской картинной галерее.

Из Индии Николай Константинович прислал в Верхний Уймон журнал, где была фотография Вахрамея с Рерихом на фоне Алтайских гор. Они переписывались. Вахрамей посылал художнику в Индию целебные травы, растения.

Дом Атамановых был двухэтажным. Наверху две комнаты, коридор, сени, балкон, выходящий на сторону двора. Теперь этот дом одноэтажный, совхоз его перестроил. Перебрали балки, нижний этаж снесли, но верхний этаж и кровля остались прежними.

Рерихи заняли второй этаж дома. В избе, стоящей в ограде, поселился Рамзана. Но этот ладакец, привыкший жить на больших высотах, плохо переносил климат низин и поэтому болел. «Целыми днями дома сидел. Накинет накидку и качается», — вспоминают о нем в селе. Он вскоре ушел с Алтая в Ладак. Это отмечает в дневнике Николай Константинович:

«Рамзана ушел в Ладак. Не вынес северных низин. «Или уйду, или умру». Конечно, вся жизнь ладакцев проходит на высотах не ниже двенадцати тысяч футов. Жаль Рамзану».

Дочь Вахрамея Семеновича Агафья Зубакина вспоминает о Рерихах как о самых близких людях: «Шибко хорошие люди были. Молодолицые, разговорчивые. Сама была вся беленькая, светлая. И волосы светлые и глаза. Шибко красивая была. Длинный сарафан у нее был, долгая одежда. Широкое, очень длинное носила. Вся одежда здешняя. Окошки открывать любила. Возле окна обычно сидела, писала. Все на свете рассказывала. По младшему сыну скучала, плакала. Три года его не видела. Учился все где-то. Сам тоже весь светлый был. С седой бородой, в сером костюме, хоть и жарко на дворе, в тюбетейке. А поверх тюбетейки на улице еще шляпу одевал. А глаза светлые, пристальные. Когда посмотрит, как будто насквозь видит. Много книг у него было. Сам все книги показывал, всяко разрисованные.

А Юра простой, простой был. Двадцать три года ему было. Молод был, а бороду не брил. Здесь рубашку купил коленкоровую зеленую. Навыпуск ее носил. Все в ней бегал. Мне та рубашка совсем не нравилась, как у всех мужиков. А она ему почему-то мила была. До дому хотел довезти. Осторожно велел стирать, чтобы не полиняла, не порвалась.

...В шесть часов утра вставали. Шибко много работали. А пройдут вечером, переоденутся и опять за работу. Три минуты им дороги. Керосин не жгли. При свечах вечером жили.

Старик больше у себя сидел, а Юра бегал или

Электронная библиотека АКУНБ elib.altlib.ru

в горы выезжал. А иногда вместе ездили. И туда ездили, и туда. Во все стороны ездили. Мой батюшка их водил. И сама в горы ездила. Ей коня смиренного нашли. Здесь ездить училась. Говорила: «Теперь уже смелее езжу».

С Олей, дочкой моего брата Прокопия, сама играться любила. На колени ее брала. Просила отдать ей ее в дети...»

Оля, которую хотела удочерить Елена Ивановна, теперь Ольга Прокопьевна Атаманова, живет в Бийске. Несмотря на то, что в бытность Рерихов в их доме ей было всего около четырех лет, она их хорошо помнит. Помнит, как художник носил ее на руках, как катал на лошади по двору, как ходил с ней и ее сестрой Таней на речку, как Елена Ивановна по утрам ей косички заплетала и как сшила для нее красивое платье.

Рерих побывал на многих окружающих горах. Художник с проводником, Вахрамеем Семеновичем, на лошадях поднимался на белки Студеный, Погорелка, Большой Батун, Малый Батун. Взбирались на Теректинский хребет, чтобы оттуда писать вершину Белухи. Ездили к подножию Белухи вдоль реки Кучерлы. Был Рерих и на южных склонах Катунского хребта, откуда вид на Белуху открывается наиболее полно. Об этой поездке свидетельствует известная его картина «Белуха», которая теперь находится в Париже, в Лувре. На этой картине, написанной в звучных, светлых тональных отношениях, отчетливо видны обе вершины Белухи, на переднем плане рисуется ледник Геблера, а за ним виднеется заснеженный Раздельный гребень, пересекающий ледники Катунский и Берельский.

О Белухе есть несколько записей в дневнике: «Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород».

«Со Студеного хребта лучше всего видно саму Белуху, о которой шепчут даже пустыни».

В Верхнем Уймоне Рерих писал этюд девушки в ярком цветастом сарафане. Позировала ему черноглазая красавица Варвара Бочкарева. Художник говорил: «Будет эта девушка в музее».

В горы Рерихи ездили также за целебными травами, маральим корнем. Делались поездки по Усть-Коксинской долине.

Об этой долине «между Уймоном и Катандою», очень ему понравившейся, Николай Константинович впоследствии не раз писал своим друзьям. И своим проводникам он говорил, что это один из красивейших уголков страны, обладающий живописной природой, богатыми недрами, прочной почвой, на которой можно строить высокие дома. Здесь, по его мнению, может быть построен прекрасный город и подходящим названием его было бы — Звенигород.

Из Катанды Рерихи проезжали по тракту дальше до Тюнгура и Ак-Кема. Художник записал: «В области Ак-Кема следы радиоактивности. Вода в Ак-Кеме молочно-белая. Чистое Беловодье. Через Ак-Кем проходит пятидесятая широта».

Старожилы Верхнего Уймона вспоминают, что Николай Константинович просил показать ему памятники героев гражданской войны. Ему показали место расстрела 11 партизан на Большом белке. Никакого памятника там не оказалось. Художник взял гладкую каменную плиту, сделал на ней надпись и положил на могилу.

Был художник у деревянного памятника, стоявшего тогда на месте героической гибели Петра Сухова.

«Все носит следы гражданской войны, — пишет в Тюнгуре Николай Константинович. — Здесь, на Чуйском тракте, засадою был уничтожен красный полк. На вершине лежат красные комиссары. Много могил по путям, и около них растет новая, густая трава».

На Алтае Рерихи собирали коллекцию образцов народного костюма. Любовь Николая Рериха к народному искусству общеизвестна. В связи с этим Агафья Зубакина вспоминает:

«Узорчатые пояса, опояски здесь покупали. Шибко им нравились. Меня упросили одеться в бухтарминскую одежду. Сарафан цветастый и подевичьи шаль. Юра меня со всех сторон снимал. Вместе с батюшкой отовсюду фотографировали. Юра говорил: «Будешь у нас по стенке бегать». Здесь все дома снимали, горы, лес. Кругом все фотографировали».

Юрием Николаевичем был заснят кинофильм об Алтайских горах, о жизни в селе, о медицинских опытах Вахрамея Атаманова.

Художник не мог не отметить в Верхнем Уймоне прекрасных достижений народного умельца Агафьи Семеновны Атамановой, прозванной «бабушкой Агашевной». Еще теперь в селах Усть-Коксинского района сохранились дома, где ею в русском народном стиле расписаны стены, окна, двери, домашняя посуда, мебель. Некоторые ее росписи репродуцированы теперь в альбоме «Очерки по народному искусству Алтая». В музее изобразительных и прикладных искусств в Барнауле среди экспонатов русского крестьянского искусства 19-го — начала 20-го века достойное место занимают стенная роспись и вышивки этой сельской художницы.

«А вот и Вахрамеева сестра, — пишет об Агафье Семеновне Рерих. — И лекарь, и травчатый живописец, и письменная искусница. Тоже знает травы и цветки. Распишет охрой, баканом и суриком любые наличники. На дверях и на скрынях наведет всякие травные узоры. Посадит птичек цветастых и желтого грозного леву-хранителя. И не обойдется без нее ни одно важное письмо на деревне. «А кому пишешь-то, сыну? Дай-ко скажу, как писать». И течет длинное жалостливое и сердечное стихотворное послание. Такая искусница!»

В Верхнем Уймоне произошла встреча Рериха с другой интересной художницей — Натальей Николаевной Нагорской. По заданию Новосибирского краеведческого музея она собирала и изучала народное искусство Усть-Коксинского района, запечатлевая в акварелях роспись наличников и узорчатую деревянную резьбу. Ее рисунки хранятся в Новосибирской картинной галерее.

О своей встрече с Рерихом Наталья Николаевна рассказывает так: «На Алтае я жила в доме Железнова в Нижнем Уймоне. Узнала, что в Верхнем Уймоне стоит экспедиция, прибывшая из Индии. Мне было интересно посмотреть на них. Одолжив коня, я поехала. Я была платком повязана, в сарафане, на плече сумка, как все сельчанки.

Во дворе, возле столба, привязала лошадь. Поднимаюсь на второй этаж. В сенях деревянный резной диван. Стучусь в дверь.

«Кто там?» — слышится голос.

«Здесь какие-то «иностранцы»?

Выходит человек с седой бородой в верблюжьем свитере.

«Не иностранцы, а путешественники. Я Рерих».

Я сложила руки на груди, повернула голову:

«Рерих! Боже мой! Я люблю ваши картины — «Строят город», «Заморские гости», «За морями земли великие». Они научили меня любить Родину, народ, историю...»

«Вы вернулись на Родину?»

«Я никогда не покидал Родины, я путешествую».

Говорили недолго. Рерих был болен в этот день. Вышли две женщины. Я показала им рисунки со своего альбома».

Кроме художественных целей, на Алтае экспедиция Рериха ставила и научно-исследовательские. Одной из них был сбор геологического материала. Это входило в обязанности Мориса Лихтмана. Об этом хорошо помнит Серапион Семенович Атаманов: «При мне Морис Михайлович камни опробовал, разные, всякие. Женщины в селе шили им мешочки для породы».

Рассказывает и Агафья Зубакина: «Крестьяне им камни приносили. Они возьмут, осмотрят, определят — свинец, каменный уголь, золото, железо, запишут, с которого места взято, заплатят человеку, который принес их, а камни в окно выкидывают. Потом три дня по этим местам ездили, проверяли, камни собирали».

Для Рериха как археолога, известного своими раскопками древних русских городов в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, вероятно большой интерес представляли многочисленные курганы, разбросанные по всей территории Алтая. Но так как пребывание его в Верхнем Уймоне было непродолжительным, то он ограничился лишь сбором легенд, сложенных народом и связанных с древними племенами, жившими на Алтае и оставившими эти так называемые «скифские» или «чудские» могилы. Эти легенды нашли место в его книгах, на их основе он создал ряд картин.

Художник записал известную легенду о самозакопавшейся чуди: «Старик ведет нас на каменный холм и, показывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь ушла Чудь под землю. Когда белый царь пришел Алтай завоевывать и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела Чудь остаться под белым царем. Ушла Чудь под землю и завалила проходы камнями. Сами можете видеть их бывшие ходы».

Эта легенда послужила сюжетом для картины «Подземный народ», написанной после посещения Алтая в 1927 году. Но сказанию о «самопогребенном» племени Рерих придает смысл переселения народов. На его полотне горная пещера Через ее обледенелые сталактитовые своды просматривается высокогорный заснеженный пейзаж. В глубокие подземелья уходят люди в древних островерхих шапках, с котомками на плечах.

Вот еще записи легенды: «В пределах Алтая можно также слышать очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о давно прошедших здесь племенах. Среди этих непонятных племен упоминается одно под именем Курумчинские кузнецы. Само название показывает, что это племя было искусно в обработке металла, но откуда и куда направлялось оно? Имеет ли в виду народная память авторов металлических поделок, которыми известны древности Минусинска и Урала? Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о сказочных Нибелунгах, занесенных далеко на запад.

Много лет спустя, в 1944 году, во время Великой Отечественной войны Рерих пишет картину «Нибелунги». Небольшой холст изображает кузнецов, кующих меч в каменном гроте при свете костра. Первобытные условия обстановки и одежда указывают на отдаленную историческую эпоху. Фон полотна дает признаки горной местности. Черты лица характерны для жителей Алтая. Произведение, видимо, создано по алтайским впечатлениям.

В основу картины «Ойрот. Алтай» тоже легла легенда, услышанная художником на Алтае. Здесь видим горный пейзаж, характерный для окрестностей Усть-Кана. Он написан в мягкой фиолетовой гамме. Светом золотистой луны освещены заснеженные вершины гор и фигура всадника на белом коне — Ойрота. В центре картины изображена девушка, закрывшая лицо руками при виде необычного всадника.

На Алтае и посейчас можно услышать многое, запечатленное в дневнике художника. В нем нашли место и лингвистические наблюдения. Отмечено употребление слов «мизгир», «сивер». Словом «сивер» до сих пор называют на Алтае северные лесистые склоны гор. А паука здесь называют «мизгир».

В воспоминаниях о Рерихе часто отмечается его забота о просвещении. Он интересовался, сколько в районе школ, сколько детей учится. К знанию, к учебе он побуждал многих.

Из верхнего Уймона Рерихи уехали 19 августа. Вахрамей Атаманов сопровождал их до Бийска.

Обратный путь был преодолен за четыре дня. Он шел через села Усть-Коксу, Усть-Кан, Черный Ануй, Туманово, Матвеевку, Карпово, Солоновку.

24 августа Рерихи прибыли в Бийск, а 26 отправились на пароходе «Жорес» в Новосибирск. В столицу Сибири путешественники приехали 27 августа. Здесь семья Рерихов пробыла неделю. В Новосибирск для встречи с художником приехал из Москвы его брат, архитектор, Борис Константинович. 3 сентября Рерихи отправились поездом в Бурятскую АССР, а оттуда дальше, по намеченному маршруту, в Монголию.

Отмечая пребывание художника в Новосибирске, журнал «Сибирские огни» во втором номере за 1927 год поместил статью писателя Г. Гребенщикова «Николай Рерих» и репродукции трех картин.

В редакционном примечании к статье писалось:

«Известный русский художник Николай Рерих летом 1926 года, побывав на Алтае, проехал через Новосибирск и Верхнеудинск в Улан-Батор-Хото, где в настоящее время знакомится с искусством этой своеобразной страны».

Рерих мечтал побывать на Алтае еще раз. Но эта мечта не осуществилась.

Выполняя завещание художника, его сын, Юрий Николаевич, передал городу Новосибирску большую коллекцию картин отца. Шестьдесят произведений Николая Константиновича являются гордостью Новосибирской картинной галереи.

А его алтайские этюды и картины разошлись по разным музеям мира, везде утверждая слова художника, которые он любил повторять: «Сибирь — страна великого будущего, а Алтай — живое воплощение ее красоты».

Галина ПРОХОРОВА

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

(ЗАМЕТКИ О КНИГЕ М. О. ПАНТЮХОВА «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»*)

Документальная проза получает все более широкое распространение в нашей литературе. В ткань художественных произведений все чаще вводятся документы, эти самые объективные свидетели событий. Достаточно вспомнить романы А. Чаковского, И. Стаднюка, Ю. Семенова. Документальные очерки, новеллы и повести, дневники, путевые заметки и мемуары приобрели в последние десятилетия всеобщую известность.

Передо мной книга в скромном ледериновом переплете. Откроем первую страницу, с небольшой фотографии взглянет молодой матрос. Открытое русское лицо, умный сосредоточенный взгляд. Это Михаил Осипович Пантюхов — автор книги «Красная линия». Это был удивительный человек. Его жизнь — целый исторический роман. Михаил Осипович с полным правом мог сказать о себе словами поэта: «Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем».

Где только не побывал за свою жизнь М. О. Пантюхов— Дальний Восток, Кавказ, Петроград, Воронеж... Последние двадцать лет жил на Алтае. Многое в нашем крае так или иначе связано с его именем.

Кто сейчас не знает об академике М. А. Лисавенко. Но мало кому известно, что Лисавенко приехал на Алтай при содействии М. О. Пантюхова. В 30-х годах Михаил Осипович работал в Москве корреспондентом «Крестьянской газеты». В одной из командировок, в Ачинске, познакомился с М. А. Лисавенко, который занимался садоводством. Его заинтересовал молодой человек, страстно увлеченный своим делом, и Михаил Осипович помог Лисавенко побывать на совещании мичуринцев в Москве, познакомиться с И. В. Мичуриным, а потом... Потом Лисавенко по совету Мичурина уехал на Алтай, где получил возможность заняться вплотную любимым делом.

Михаилу Осиповичу принадлежит идея шефства алтайского комсомола над одним из кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Теперь наших комсомольцев и моряков крейсера «Свердлов» соединяет прочная дружба.

Но обратимся к самой книге «Красная линия». Это многоплановое произведение, создающее впечатляющий образ эпохи, образ времени, прекрасного и трудного.

Воспоминания охватывают период с детских лет, проведенных в чудесном городе — Царском Селе. Кем только не довелось быть Михаилу Осиповичу — фельдшер, агитатор, политработник, командир отряда революционных матросов, прокурор, журналист...

Первые страницы книги переносят нас в удивительный и неповторимый мир детства. Царское Село начала века. Воспоминания детства согреты теплым чувством любви к тому далекому, безвозвратно ушедшему и милому времени, когда все казалось новым и необычным. Яркими, сочными мазками рисует автор веселые зимние праздники, искрящиеся ребячьими улыбками, елочными огоньками. Эта первая часть книги расцвечена запоминающимися юмористическими сценками.

Перед глазами читателя встает озорной мальчишка — очень непоседливый, очень привлекательный, душевный и пытливый.

Революция! Тревожное и прекрасное время, время, не допускающее ни малейших компромиссов, время, поразительное по своей неповторимости, ясности и одновременно сложности.

Мишу Пантюхова влечет в самую гущу бурных событий, а знакомство с революционно настроенными матросами помогает ему разобраться в сложной обстановке тех лет. В книге очень тонко показано, как постепенно под влиянием матросов-большевиков идет нелегкий процесс формирования характера, формирования верного, подлинно большевистского взгляда на происходящие события.

Октябрь 17-го года. Штурм Зимнего. «В ночь на 26 октября, во время штурма Зимнего дворца, я находился в карауле под Главной аркой Адмиралтейства», — пишет Михаил Осипович.

Стремительно развиваются события, и читатель чувствует, что автор не просто пересказывает «дела давно минувших дней», а вновь и вновь переживает их, отдавая им часть души. Нет, несвойственна была автору этой книги мечтательная созерцательность, роль стороннего наблюдателя. М. О. Пантюхов был борцом по самой своей сути: жизнь бросала его из одного боя в другой — защищал завоевания революции, защищал достоинство и честь человека, воевал против несправедливости, душевной черствости, эгоизма.

М. О. Пантюхов был одним из тех счастливых людей, кому довелось видеть и слышать Ильича, разговаривать с великим вождем. Пантюхов видел Владимира Ильича три раза. Автор не описывает внешность Ленина, но показывает Ильича в действии, в разговоре. В воспоминаниях запечатлены дорогие черты Ильича — простота

* М. О. Пантюхов. «Красная линия». Алтайское книжное изд-во, 1974.

в обращении, сердечность, внимание к собеседнику.

«Владимир Ильич протянул мне руку, которую я горячо пожал... я стоял как зачарованный, и в ушах звучали такие простые, такие большие ленинские слова: «Если речь идет о жизни товарища... я готов...»

М. О. Пантюхов встречался также с Р. С. Землячкой, главковерхом Антоновым-Овсеенко, командармом Петровым, всесоюзным старостой М. И. Калининым.

Для книги «Красная линия» характерна большая искренность, доверительность интонации. М. О. Пантюхов умел приближать далекое, навсегда ушедшее от нас время.

И вот перевернута последняя страница. Но герои этой книги остаются навсегда с нами. Они не выдуманы автором, они жили, боролись, любили. Они — это наша славная история, история, которую они творили своими руками.

Говорят, что перо пишет плохо, если в чернильницу не добавить несколько капель собственной крови. Мудрость этого изречения становится особенно заметной, когда читаешь такие книги как «Красная линия». Это на редкость цельная вещь, обладающая своим оригинальным обликом. Радость бытия, смерть и ужасы войны, сложные извивы людской души, кипение противоборств — все это выписано автором поразительно четко и верно. Очевидно, поэтому после прочтения книги М. О. Пантюхова остается впечатление, что побеседовал с мудрым и интересным человеком — верным солдатом революции, одним из тех, с кого можно «делать жизнь».

Книга его создана с определенным прицелом. Рассказывая о своей жизни, о молодости своего поколения, М. О. Пантюхов ставил перед собой задачу: «...что-то основное, главное, являющееся содержанием внутреннего мира молодежи тех лет, нужно прививать современной молодежи, нужно пронести как драгоценный сосуд на руках десятков поколений молодежи в коммунизм».

Электронная библиотека АКУНБ ru.lib.ru

Н. ЯНОВСКИЙ

АРСЕНИЙ ЖИЛЯКОВ

Произведения Арсения Жилякова начиная с 1906 года нередко появляются в периодической печати Сибири. Единственная книга, изданная при жизни автора — «В тихих лесах» (Барнаул, 1918),— содержит всего лишь четыре коротких рассказа и не может дать сколько-нибудь ясного представления о писателе. Обследование газет, случайно сохранившиеся рукописи в архиве А. С. Новикова-Прибоя позволяют теперь, спустя более чем полстолетия, впервые объединить произведения А. Жилякова в нечто цельное и взглянуть на весь его сравнительно небольшой творческий путь*.

Арсений Иванович Жиляков родился 13 февраля (ст. ст.) 1879 года в бедной крестьянской семье села Могильного Курганского уезда Тобольской губернии. Рано оставшись без матери, он воспитывался под присмотром мачехи, невзлюбившей пасынка. Окончив сельскую приходскую школу, он в тринадцать лет поступает писцом в полицию, затем переводится в канцелярию мирового судьи (в Кургане, в Тюмени). Революцию 1905 года встретил восторженно, и настолько, что в 1906 году был выслан в родное село. Именно с этого времени началось у него, по собственным словам, «пробуждение и обновление», появилась тяга к осмыслению увиденного и пережитого. Отсюда, из родной деревни, и начались его выступления в печати — корреспонденции в газетах «Омич», «Омский телеграф». В 1908—1909 годах А. Жиляков активно сотрудничает в газете «Омское слово», редактируемой молодым тогда писателем Г. Д. Гребенщиковым. За короткий срок — газета просуществовала всего полгода — он опубликовал более десяти зарисовок, эскизов, рассказов и нередко подписывал газету в качестве редактора.

Газета, руководимая писателем, и оказалась по преимуществу литературной. Кроме А. Жилякова, в ней часто выступали Иван Тачалов, Георгий Вяткин, социал-демократ Илья Модзалевский, А. Сорокин, К. Дубровский и, конечно, сам Г. Гребенщиков, который буквально заполнил всю газету своими рассказами, стихами, очерками, театральными и литературными рецензиями, полемическими статьями, отчетами о путешествиях и т. п. материалами. Газета еще не успела более или менее отчетливо определить истинное лицо, как была оштрафована и закрыта. Видимо, за один оппозиционный дух, который витал тогда над частными изданиями такого типа.

Первые известные нам выступления А. Жилякова с художественными зарисовками и эскизами не могут быть признаны вполне удачными. Но тематика их примечательна. Зарисовка с натуры «Утром» (1909) — о бедствиях крестьян-переселенцев. В Сибири они не находят того, что искали, потому им свойственны угрюмость, недоверие, настороженность. И «при невольном жесте,— замечает зоркий наблюдатель, — из-под полы сверкает лезвие топора». Это уже нечто новое, не свойственное переселенцам до революции. В эскизе «Мираж» (1909) рассказано о судьбе молоденькой учительницы, мечтавшей посвятить себя деревне, совершить там подвиг самоотвержения. Но через год после переезда в деревню она обнаруживает в себе непреодолимую тоску по городу, и «мысль о неизбежности в будущем такого же, как вчера, серого существования в захолустном селе» приводит ее в ужас. В ее грезах теперь мелькает город с его соблазнами и пугает зловещее предчувствие, что отныне и навсегда ей «придется довольствоваться только миражами». В записках одинокого «В объятиях» (1909) рисуется беспросветная жизнь городских окраин: измученного рабочего с женой-прачкой, девочки, роющейся на помойке, стариков, занимающихся нищенством... Молодой писатель вглядывается в разные лица дремотно текущей вокруг жизни и ничего отрадного не видит. Таким состоянием души и объясняется, по всей вероятности, тяготение к символическим картинкам, где туманная многозначительность сочетается с безысходностью («Минута», «Старая кадильница» и др.).

Жизненный путь А. Жилякова сложился трудно: тяжелое детство и ранний непосильный труд, женитьба, оказавшаяся неудачной, ссылка и постоянная угроза остаться без средств. Ко всему этому или вследствие этого присоединилась в острейшей форме болезнь алкоголизма, она и метала его из города в город. Он работал редактором газеты «Степь» в Троицке, сотрудничал в газетах «Приуралье» (Челябинск), «Пермский край», «Юг Тобола» (Курган), «Курганский вест-

* Автор выражает благодарность вдове писателя А. С. Новикова-Прибоя — М. Л. Новиковой и Литературному музею при школе № 27 в Барнауле, сохранившим архив А. И. Жилякова и предоставившим мне возможность ознакомиться с ним.

ник», «Сибирская жизнь» (Томск), «Алтайское село» (Новониколаевск). «Алтай» (Бийск) и др. С 1912 года выступает в газете Барнаул «Жизнь Алтая», с 1915 года переезжает в город на постоянное жительство и здесь 17/VIII 1921 года погибает (разбился, упав случайно с третьего этажа).

А. Жиляков принадлежал к писателям-самоучкам, как, например, И. Тачалов. Им во много крат труднее приходилось пробиваться к высотам художественного мастерства, к широкому пониманию событий своего времени. Поражение революции 1905 года они переживали с особенной остротой и с большими для себя потерями. Критический пафос, направленный против царизма, все чаще и чаще отягощался нотами уныния и тоски, мотивами безнадежности в достижении светлых целей в ближайшем будущем. Послереволюционный массовый террор, отчетливо видимый в ссыльно-каторжной Сибири, разразившаяся война, лишенная осмысленной цели, полное банкротство правящей самодержавно-бюрократической верхушки с Распутиным в заглавной роли вызывали приступы мрачнейших настроений. Случались и счастливые минуты прозрений, но господствующая тональность творчества — незащищенность положительного героя, трагизм его положения в обществе. За предреволюционные годы (1910—1917) А. Жиляков написал не больше двадцати—двадцати пяти рассказов и зарисовок. Художественное качество их заметно возросло, а содержание в значительной степени определяется названием большого цикла произведений, над которыми он настойчиво работал, — «Во мгле». Еще П. Казанский, лично знавший А. Жилякова, говорил о произведениях писателя, что «над их героями — мелкими людьми города и деревни, большею частью пришлыми, одинокими и всем чужими, обычно висит какой-то гнет, давит их, не дает выпрямиться, развернуться, а часто и губит». («Сибирские огни», 1922, № 2, стр. 162). Правда, объяснял он эту особенность лишь «гнетом алкоголизма» автора, тем не менее что-то основное в характере предреволюционной прозы Жилякова охвачено верно. Герои его рассказов — крестьяне, служилая интеллигенция, ссыльные и поселенцы разных категорий — нередко пребывают в состоянии забитости и невежества, разочарований и осознания ненужности, бесперспективности дальнейшего существования или, в лучшем случае, сознательного отхода от общественных дел и забот. Если же среди них и появляются люди необычные, прекрасные, то обязательно это одиночки и участь их — страдать от дикости суеверий среды, непонимания их благородных целей, от тупости властей.

А. Жиляков, прежде чем рассказать о людях и событиях, взволновавших его, погружает читателя в атмосферу старой сибирской деревни, ее природы, ее обычаев. Почти каждый рассказ начинается с поэтической прелюдии, по которой потом он, как по камертону, выверяет в нем все: характер повествования, настроения, мысли...

«Серенький, хмурый осенний день. Мелкий дождь с утра неотвязно стучит по старым стеклам окна и шуршит где-то на крыше» (Во мгле»).

«В этот смеющийся теплый солнечный день на Кукарцево надвигалось что-то чуждое, быть может, — враждебное» («В тихих полях»).

«Село так и называлось — Камышное. К северу на восток камыши тянулись бесконечным займищем, и еще деды и прадеды камышенцев считали, что там, где море серых верхушек камыша сливается с неясной, такой же серой, мглистой линией неба, — край земли, конец света...» («Крик в камышах»).

Нетрудно догадаться по этим кратким «зачинам», в каком ключе будет исполнен каждый рассказ. А если мы прочтем начальную сцену всю, то легко убедимся, что автор в передаче чувств и настроений пластичен, мягок, точен. Сцена наполнена звуками и красками, и в каждом слове-образе бьется отзывчивое, доброе и страдающее сердце рассказчика.

«Уже серело небо, готовясь затянуться сплошными мутными облаками поздней осени.

Бледно-зеленые и багряные листья осинок трепетали на полуоголенных ветвях и, поминутно отрываясь, бесшумно устилали землю пестрым ковром. Холодные, безучастные лучи заходящего солнца пронизывали реденькую группу этих грустных деревец, и длинные тени их перегибались через пригорок с сухой жесткой травой, пересекали пыльную дорогу и терялись в синеватой дали степи.

Чутко отражался в застывшем прозрачном воздухе и слабый отдаленный шорох, и каждый едва уловимый звук.

Где-то за большим, поредевшим и печальным теперь лесом гулко громыхала телега и крикливо дребезжала тонкими, сорвавшимися с гвоздей досками. Унылая, протяжная песня беспрерывно, нескончаемо неслась по оголенному лесу и то затихала, замирая вдали, то высоко взмывала, как волна, приливала к опушке и, звеня, сновала здесь среди редких деревьев.

Опустевшие поля, со смятым, втоптанным стадами, жнивьем, грустно, осиротело серели однообразными, выцветшими полосами, и на этом сером фоне, возле межи с редкими осинками, резко чернел и пахнул холодной землей вскопанный за день загон картофеля.

Безлюдно, одиноко-печально было в осенних полях» («Марьино счастье»).

Заметно, что во всех этих картинах преобладают серые краски, грустные или печальные звуки, подчеркнутая унылость, одинокость. И не потому, что перед взором автора вдруг всплывал традиционный образ осени, унылой поры, а потому, что образ этот соответствует дальнейшему содержанию рассказа, всему мироощущению писателя. В рассказе «Одна» обыкновенная канцелярия в большом шумном городе изображается в тех же, если не более жестких, тонах:

«Было тихо и пусто; затхлый канцелярский воздух и молчание казенной обстановки, покинутой людьми, дышали чем-то неуловимым, напоминавшим веяние смерти».

Рассказ в самом деле кончается драматически. Огромный грохочущий город выпил душу молоденькой машинистки и «поглотил ее»; так ненавистна стала ей ее казенная изнуряющая работа, так измучил ее одинокий «будничный, наполненный мелкими домашними заботами угол», что она вопреки разуму бросилась в водоворот праздно-кипящей жизни города. Очевидна антиурбаническая направленность рассказа, тогда довольно распространенная, но ведь и деревня у А. Жилякова не выглядела лучше, привлекательней «суетливого, бестолкового» города, то равнодушного к судьбе человека, то зовущего к себе.

Староверы, которых нередко изображает А. Жиляков, хотя и слыли православными, церковь посещали неохотно, ребят в школу не от-

пускали, убежденные в пагубности гражданской грамоты, всякому новшеству сопротивлялись фанатично, жили представлениями старозаветными, несообразными и даже диковатыми по понятиям нового времени. А когда в старообрядческом селе появился свой же, но необыкновенно пытливый юноша Андрей (рассказ «Крик в камышах»), который хотел много знать, читал гражданские книги, отказывался признавать, что земля на трех китах держится, искал другой, более осмысленной жизни, то его вскоре объявили и порченым, и знающимся с нечистой силой. А когда в пустовавшую школу опять — в который уж раз! — прислали новую учительницу и Андрей ревностно начал ей помогать, то сразу полились на них, дружных, чистых и светлых, «гнусные намеки и угрозы доносом». Учительница не выдержала — уехала, Андрей же, полюбивший ее, снова, как и прежде, остался одиноким в родной деревне и впервые с такой непереносимой болью в груди явственно услышал тоскующе-надрывную мольбу того неведомого, кто и раньше постоянно кричал здесь из-за камышей.

В рассказе «Марьино счастье» над Марьей, виноватой в том, что ее любили не только парни, но и «чужие мужики», учинена такая расправа, что иначе, как зверской, ее не назовешь. В «Краже» мужиками вершится злобный самосуд над «поселенцем» в основном за то, что он выпадает из привычного для них течения деревенской жизни, непонятен и чужд ей.

Однако А. Жиляков не стремится осуждать только самих крестьян. В рассказах у него постоянно виден главный виновник — царизм, реакционная власть, калечащая или уничтожающая жизнь людей за малейшую попытку как-то разобраться в происходящем, что-то изменить вокруг. Любой свет, зажегшийся в глазах людей, был ненавистен и гасился с тупой безоговорочностью. Трагически завершается, например, рассказ «В тихих полях». В обычное мерное течение событий на селе, куда «не доходил гул новой жизни», врывается, как сказано в зачине, действительно нечто враждебное: урядник, грубо попирающий человеческое достоинство, ничем не приметный охранник, осуществляющий гласный надзор за политическими ссыльными, а вместе с ними и вся полицейская машина царизма, обнаглевшая, упивающаяся своей силой и властью.

Политический ссыльный, еще юный Сосновцев, определяется на постой к Трофиму Никифоровичу. Мужики насторожены, повторяют нелепые слухи, строят догадки и предположения, но потом привыкают, особенно сам Трофим Никифорович, заметивший, что Сосновцев открыт и честен, все говорит и делает «от сердца», и не раз «они подолгу засиживались вдвоем». Надзиратель, однако, не дремал. Сосновцев и Трофим Никифорович арестованы и увезены в город, а полюбившая постояльца дочь хозяина Варя повесилась. Психологической мотивировки поведения Вари в рассказе нет, и пока оно воспринимается чисто умозрительно (кстати, такой концовки не было в первом опубликованном варианте — см. газ. «Юг Тобола», Курган, 1912, VI; «Жизнь Алтая», Барнаул, 1912, 19/VII). Видимо, жестокий исход в несколько элегическом рассказе потребовался для четкого выделения в нем основного — жестокости мер правительства, их бесчеловечности и правовой несостоятельности. Как бы то ни было, ощутима известная доля схематизма во взаимоотношениях Вари и постояльца. Да и характер самого Сосновцева мог бы быть более емким. Тенденция явно просвечивает в рассказе. Но в те дни она была своевременной, так как только что свершились трагические события на Лене, и свидетельствовала о подлинно гражданской позиции А. Жилякова. Не случайно почти сразу две газеты напечатали этот рассказ.

Не одинаковы у А. Жилякова и политические ссыльные. Не все из них ведут себя достойно, способны работать, сохранить себя, свои убеждения. Рассказ «Во мгле» особенно критичен и предвосхищает в какой-то мере повесть И. Гольдберга «Его путь». Трое спившихся ссыльных, как бы хорошо они ни философствовали, сколь бы ни каялись в своих прегрешениях, как бы ни обвиняли «серую мглу действительности», застилавшую «яркий просвет» и «широкие перспективы», никакого сочувствия не вызывают у читателя.

Политические ссыльные или поселенцы вообще частые герои произведений А. Жилякова, и мы можем даже проследить, каковы же они в его представлении. Сосновцев спорил с товарищами, делился своими мыслями с крестьянином, работал вместе с ним на полях и сенокосе. Подробней его внутренний мир не рассмотрен, не изучен. Артем из рассказа «Чужие» был сослан в Сибирь лет двадцать назад, не раз сбегал, но неудачно, потом смирился, «привык, прирос к земле», а по существу разуверился. С вновь прибывшим ссыльным студентом он уже не находит общего языка, убежденный, что люди «долго еще не пойдут за вами по слепоте своей», к тому же «каждый из нас слишком любит себя». В этом он видит главное препятствие: «Давно я стал сам по себе. Всегда меня гнали, везде мне не хватало места, и я... Я как будто стал между природой, которая молчит, и людьми, которые много говорят, но редко понимают друг друга». Это уже определившаяся философия, продиктовавшая линию поведения, а не банальное пьянство от безделья и тоски. Постепенно, углубляясь в характеры, казалось бы, в основном согласных между собой людей, мы постигаем, что нетерпеливый, ищущий студент значительно ближе автору, чем этот Артем, забывший свое настоящее имя.

Лирический герой рассказа «Улыбки лета» предстает в ином качестве. Он сильный здоровый человек, не раз «по воле всесильного краевого сатрапа» ссылавшийся то в одну, то в другую деревню. Часто сбегал и, естественно, вновь попадал в тюрьму. «Ссылка меня нисколько не тяготит», — спокойно заявляет он и всего себя отдает лесу, речке, солнцу, отдыхая от перенесенных лишений и скитаний. Его непосредственный рассказ о милой девушке, напуганной в детстве еврейскими погромами, слабенькой, болезненной, но жаждущей всю себя посвятить людям, наполнено светом и сознанием необоримости зреющих в народе сил. Тут примечательна непосредственность, с какой она, дачница, барышня, входит в доверие к Михеичу, деревенскому мастеровому, и быстро обретает его трогательную любовь-дружбу. Умный Михеич почувствовал незаурядность ее натуры, ее духовную красоту, ее устремленность в завтрашний день. В спокойной уверенности зрелого политического деятеля, в дружбе порывистой молодости с народной мудростью промелькнула для автора надежда на лучшее будущее.

Именно промелькнула, так как колорит большинства предреволюционных произведений

А. Жилякова — здесь следует назвать еще «Слезы», «На рассвете», «Большая тюрьма», «Из прошлого», «На постоялом дворе» и другие — мрачен, мглист, сер и часто беспросветен. Для характеристики противоречий в мировоззрении писателя той поры показателен символический рассказ «Большая тюрьма». Символика его прозрачна и не отличается оригинальностью. Измученный голодом человек грезит. Его посещают фантастические образы, в голову лезут разные странные мысли, и он начинает понимать, что весь мир — это большая тюрьма без стен, где «каждый сам себя сторожит». Постоянно голодный, человек навечно прикован к котелку с пищей, и этим определяется его суть. «Мы в тюрьме, которую называют жизнью», — говорит бегающий суетящийся около котелка человечек из грез голодного.

Как по характеру творчества, так и по его общедемократическому направлению, А. Жиляков прочно входит в число писателей критического реализма, который определялся в Сибири именами И. Тачалова и В. Шишкова, П. Драверта и И. Гольдберга, Г. Вяткина, Г. Гребенщикова и другими, близкими им писателями. И когда свершился Октябрь, а власть в Сибири перешла к Советам, А. Жиляков мог по праву назвать себя советским писателем — так много думал он о грядущей революции и людях, которые ее готовили. С этого исторического рубежа для него, как и для многих, начался новый, пусть короткий, но чрезвычайно важный период.

П. Казанский, первым оценивший весь творческий путь А. Жилякова, писал в статье «Две утраты»: «Последние его произведения по художественным качествам стоят ниже более ранних» («Сибирские огни», 1922, № 2, стр. 162). С этим трудно согласиться, если внимательно взглянуть на созданное им за последние (1918—1921) годы.

В июле 1918 года, то есть до колчаковского переворота, А. Жиляков публикует большое произведение «Мирское дело» с подзаголовком «Страницы деревенской жизни». Это было принципиально важное выступление по самому волнующему крестьян вопросу: как жить дальше, по какому пути развиваться? Михаил Лукич, главный герой произведения, воодушевлен идеей кооперации. В образовании артельного капитала он видит средство избавления от капитала кабального, частного. Но артельщики не поддерживают Михаила Лукича, и он, без того необыкновенный для деревни человек — не принимает участия в традиционных гулянках, не пьет хмельного, много думает и мечтает об успехах общественно значимого «мирского» дела, — остается в грустном одиночестве. И эту грусть его разделяет автор, тоже убежденный, что кооперативное хозяйство — верный путь.

Развитие кооперативов в Сибири усилилось в годы первой империалистической войны. Они сыграли значительную роль в вытеснении частного капитала из сельского хозяйства, интенсивно способствовали обобществлению сельскохозяйственного производства и сбыта. Конечно, в условиях царизма кооперативы носили буржуазный характер, но они подготавливали новые средства производства и обмена, могущие быть использованными, по мнению В. И. Ленина, после свержения капитализма (см.: Полное собр. соч., т. XIX, стр. 352). Проанализировать весь ход развития кооперативов в Сибири, напомнив решения на этот счет VIII и IX съездов партии, авторы «Истории Сибири» заключают: «Таким образом, развитие кооперативов до 1917 года необходимо рассматривать как одну из важнейших социально-экономических предпосылок социалистической революции» (т. 3, стр. 445). Следовательно, не шуточные и отнюдь не прокулацкие проблемы поднимал А. Жиляков на своих «страницах деревенской жизни». Конечно, Михаил Лукич еще не понимал, в какой мере серьезно подорвана в стране власть частного капитала, но он готовил себя и своих артельщиков к известным и понятным для него схваткам. И был тогда в какой-то мере прав: через несколько месяцев в Сибири установится власть Колчака.

Девятнадцатый год, прожитый под пятой колчаковской диктатуры, не мог не сказаться на настроении и взглядах писателя. А. Жиляков еще в большей степени утверждается в своем полном неприятии старого, вдруг вновь вернувшегося уклада жизни — с его отвратительной солдатчиной, урядниками, попами и офицерами, с обывателями разных сословий.

Трудно установить с необходимой точностью даты появления произведений А. Жилякова, но можно с уверенностью сказать, что в последние годы жизни он написал два подлинно критических рассказа («Яма» и «В притоне»), подготовил к изданию сборник из трех рассказов под общим заглавием «Во мгле», завершил начатую еще в 1916 году трилогию о детстве «У истоков жизни», создал пьесу «Северные зарницы». Писатель переживал безусловный творческий подъем, никогда до этого он не выступал столь уверенно и зрело, с таким гражданским пафосом, с такой убежденностью.

Рассказ «В притоне» сохранился в верстке журнала «Сибирский рассвет». Есть основания предполагать, что он не был пропущен колчаковской цензурой. Ведь совершенно очевидно, что герои рассказа — солдаты из гарнизона, расположенного в городе. Чем примечательны они прежде всего? Крайней степенью духовного убожества, отвечает автор. Вырвавшись на волю из казармы, они не знают, что им делать, как и куда убить время. Затем выясняется, что попасть в злачное место с дешевыми девицами и гульнуть — предел их желаний. Один из них, Боголепов, упившись, признался, что он воровал причастия и с тех пор испытывает «страх перед... бесконечностью», то есть перед завтрашним днем, перед будущим своим; другой, Соколов, — солдафон без чести и совести, он ошеломляет своей выходкой даже глупую проститутку: уходя, он крадет у нее четвертную кредитку. Самая колоритная фигура рассказа — дьякон, пострадавший за свое «свободомыслие»: он отслужил «панихиду по убиенным 9 января рабочим». Злободневно прозвучал его ответ на обвинение в сознательном свершении поступка «политического характера». «Не знал я, — говорю, — не слыхал даже, чтобы религия, заветы Христа, изменялись сообразно требованиям политики». Отслужил, потому что считал это христианским долгом. Возможно, и правда: дьяк не знал, что делал, потому-то и запил, когда «на некое был услан послушанье». А солдатам, убежден автор, знать об этом надо. Но где же им всем — у каждого «душа продырявлена» то равнодушием, то страхом, то собственническим свинством.

Не менее актуальным оказался и рассказ «Яма», опубликованный журналом «Сибирский

рассвет». Известно, как восторженно встретила почти вся интеллигенция России февральскую революцию. Но Октябрьскую значительная ее часть не приняла, а некоторые вчерашние «революционеры» и «демократы» даже заговорили языком охранителей привычного старого мира. Вот об этой городской обывательской ителлигенции и написан рассказ.

Андрей Коронатов, на первый взгляд, неплохой молодой человек. Если к карьере не тянется, то это по молодости; если выжидал и не действовал, то от чистой веры в возможность «приблизить будущее» помимо каких-либо усилий; если слушал городские сплетни, то... невольно; слишком тонки перегородки, отделяющие его комнату от соседей.

Вглядываясь в Коронатова, вслушиваясь в «свистящий шепоток» сплетницы Агафьи, изображенной уже с мастерством, знакомясь со старухой-пенсионеркой, не могущей и дня прожить без Агафьиных новостей, мы убеждаемся, что городок Ковылин в самом деле не более как «грязная, всегда наполненная мутной водой» яма, кстати, действительно украшающая город.

Любовь Коронатова к Ванде, дочери только что приехавшего в город лесничего Стемповского, описана с язвительной иронией. Тут и «тонкие иглы», вошедшие в сердце, и «темнота в глазах», и «болезненная застенчивость», и возвышенный разговор о пьесе Чехова, о времени, когда «небо засверкает алмазами», и «бессонные ночи», когда подкрадывалась подстерегающая мысль: «А что, если все это только чувственное опьянение, распаленное постоянными мыслями о ней?» Словом, перебран весь аксессуар романтической увлеченности любовью сегодня, «кипучим потоком жизни» — завтра, а реальный результат для него всегда один: сплетни Агафьи, животная связь с Агафьей, зловонная яма города, погрязшего в пошлости и цинизме. Коронатовы, благополучные, пусто мечтающие интеллигентики, не способны упорядочить даже собственную жизнь, где им подумать о других!

Рассказы из цикла «Во мгле» вовремя напоминали читателям о мерзостях старого мира. Мещанин, озверевший собственник, не останавливается перед убийством отца, который, не ведая того, отдает цыгану хомут с запрятанными в нем деньгами («Беда на Загонной улице»). Поручик Иванищев, кровавый усмиритель рабочих, спивается от сознания гибельности своего жизненного пути, от страха перед ответственностью («Братья»). Пристав, палач, пьяница и развратник, требует от такого же, как сам, мерзавца извиниться за пощечину, отвешенную проститутке. Гнусная игра в гуманность, в соблюдение приличий в неприличном месте и неприличными средствами («Пощечина»).

Социальный аспект рассмотрения действительности и ранее не был чужд писателю. Здесь что ни портрет, то социальный тип, данный в живых человеческих связях, экономно и сочно. Даже денщик Шуткин, лицо в рассказе «Братья» не первостепенное, есть обобщение обезличенности мужика-солдата, доведенного муштрой до идиотского состояния. Замызганный мундир, выжидательно-угодливая бороденка, торопливый бабий говорок и тупая неразмышляющая покорность составляют суть его внешнего и внутреннего облика. На окрик — «очевидный ты, братец, дурак!» — «Шуткин часто заморгал ресницами, словно собирался заплакать, потом сделал тяжелым, неуклюжим сапогом па и, суетливо двигая локтями, побежал на кухню». Как бы ни разделяло их положение в обществе, они, поручик и денщик, братья по духу, и покорность такого рода, утрата человеческого достоинства, раболепие не имеют оправданий в глазах писателя. Пристав, поручик, денщик, мещанин-убийца — на каждом из них печать разложения господствующего класса в канун революции. Характерно, что в этих рассказах, несмотря на жуткие, мрачнейшие события, в них изображенные, нет теперь авторского отчаяния или тоски, только пафос обличения, жестокого и бескомпромиссного. Как и прежде, почти каждый рассказ — миниатюра, но нет в них теперь эскизности, недосказанности, скороговорки, все подчинено характеру, объяснению его истоков, анализу состояния души. Савелий, убивший отца, не от рождения жесток. Акимыч тоже ведь всю жизнь прожил ради вещей, гордился нажитым домом, хозяйством. Через внутренний мир Акимыча, ограниченный собственничеством, постигает читатель характер его сына Савелия, человека угрюмо-одинокого, нелюдимого, жадного. Едва ли не впервые в жизни умирающий Акимыч проявил слабость — даром отдал цыгану старую, не нужную ему хомутину и по логике господствующих в его среде социально-нравственных устоев поплатился за это. Эту закономерность, воплощенную в емких реальных характерах, и стремится подчеркнуть писатель в книге «Во мгле».

Автобиографические главы о детстве «У истоков жизни» П. Казанский справедливо назвал «прелестной трилогией». В самом деле, это одно из поэтических произведений А. Жилякова, неоспоримое свидетельство незаурядности его таланта. Просто, с подкупающей искренностью рассказано о событиях по преимуществу горьких — о первых бедах и расставаниях, — но в них все пронизано светом, радостью бытия, надеждами. Тот оптимизм, который нет-нет да пробивался в произведениях А. Жилякова, здесь заполняет едва ли не все страницы. Родная деревня, ее люди, природа, отец, такой незабываемый, — все овеяно любовью и нежностью, детской верой в несокрушимость добра. На переломе эпох рождался новый писатель, воодушевленный жизнеутверждающими идеями века.

Об этом же свидетельствует пьеса «Северные зарницы», последнее, над чем работал А. Жиляков. Она во многом несовершенна и относится к обычным агитационным произведениям двадцатых годов. Но тема ее — революция, действующие лица — рабочие, основное событие — демонстрация трудящихся небольшого провинциального городка, их столкновение с полицией. Идет 1906 год, наборщики и сотрудники газеты «Северные зарницы» готовятся на первомайскую демонстрацию, но в редакцию врываются жандармы и опечатывают типографию за опубликованный в газете призыв «Все на демонстрацию!» Третья картина в рукописи не сохранилась, но вторая заканчивается словами рабочего-сторожа, заменяющего и редактора и издателя, которые уже сидят в тюрьме: «Заполыхали наши зарницы!» А. Жиляков закономерно шел к освоению новых, революционных тем.

Жизнь и творчество Арсения Жилякова — приметная и своеобразная страница в истории литературы Сибири.

Арсений ЖИЛЯКОВ

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ

(ГЛАВЫ О ДЕТСТВЕ)

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Чесноковский колок, длинный, казавшийся Кирилке бесконечным, с трех сторон примыкал к селу Кукарцеву, придвигал его к обрывистому берегу озера, сверкающей гладью уходившего куда-то далеко к востоку, и как будто отгораживал столетнюю деревню от всего мира. И те люди, что жили, вероятно, по ту сторону леса, по догадкам Кирилки, были какие-то неводомые великаны, совсем не похожие на тятьку и мамку, на дядю Прокопия, на тетку Матрену и вообще на всех, кто окружал его с того дня, когда Кирилка стал помнить себя.

Чесноковский колок давно, еще с самого раннего детства, сильно интересовал и в то же время пугал Кирилку. Ему казалось, что если пройти в глубь леса версту или больше, то встретится что-нибудь невиденное, быть может — красивое, как сказки бабушки Агафьи, а быть может, — такое страшное, от чего придется далеко-далеко убегать...

Другой берег озера, терявшийся где-то там, на востоке, откуда по утрам выплывает огромное солнце, представлялся Кирилке таким же далеким, как и край неба, на который, по рассказам бабушки, кладут на ночь прялки.

И когда Кирилка уже боронил на Гусихе, ближней дедовской пашне, Чесноковский колок, через реденькие осинники и сильно вырубленные по межам березняки, мрачно, как будто даже угрожающе, по целым дням смотрел на Кирилку, и он не замечал, как из губ, потрескавшихся на сухом и холодном весеннем ветру, сочилась кровь, а кожа на лице, как береста, коробилась и шелушилась.

Все внимание, все помыслы Кирилки тянулись к Чесноковскому колку, такому близкому, манящему и — таинственному.

Рано утром, когда и трава на межах, и бороны, впившиеся в рыхлую землю, были еще смочены росой, с опушки Чесноковского колка доносилось звяканье ботала — отчетливо, мелодично, как доносится каждый звук на заре. Там же, где-то далеко и вместе с тем близко, исступленно токовал косач, будто отплевывался от чего-то с сердитым урчаньем. Позднее, когда всходило солнце, где-то уже совсем близко, как будто вот тут, позади шалаша, начинала звонко высвистывать ивогла. Яркие лучи солнца золотили вершины трепетных осинок и грустно-задумчивых берез, гнали из леса седые струи тумана, расстилавшиеся над пашней длинными, чуть-чуть колеблющимися полосами, и Кирилке казалось, что кто-то там, в Чесноковском колке, теперь уже встал и, наверное, умывается: оттого и пар...

Пока Кирилка боронил с отцом на своей пашне, его не посылали в лес, и он хорошо знал только кусты да осинники, окружавшие шалаш. Он еще не мог поймать и распутать лошади, не мог без помощи взрослых взобраться на седло — его еще подсаживали и снимали с верш-

Электронная библиотека АГУНБ, elib.altlib.ru

ны. Но когда он сидел верхом, то уже чувствовал себя большим и видел далеко — дальше кустов смородины и даже черемухи, что росли за шалашом.

Нынешней весной Кирилка был на целый год старше и уже самостоятельно влезал Игреньке на вершну, и только пользовался при этом или пнем, или колесом телеги. И уже гордился этим. Уже смело подергивал поводья и властной рукой молодого хозяина заставлял повиноваться себе старого смирного Игреньку.

Но в эту же весну на голову Кирюшки свалилось горе, первое горе, выдавившее из синих глазенок первые слезы отчаяния.

У отца Кирилки сев в эту весну был маленький. Два года подряд случился недород, и не хватило семян. Поэтому Кирилкин отец решил нынче боронить сам, на поводу, а Кирилку отдал в бороноволоки к богатому дяде Прокопию.

И здесь Кирилка впервые узнал, что дядя Прокопий не так уж добр, как казалось раньше, и что лошади не все уж так смирны, как смирен Игренька или Карюха. Здесь снова пришлось пользоваться обидным для Кирилкина самолюбия подсаживаньем на вершну. Притом руки у дяди Прокопия, в особенности у сына его, Поликарпа, были куда тверже, чем у отца или старшей сестры, и больно сдавливали бока.

С первых же дней жизни в чужих людях Кирилка убедился, что здесь зачем-то раньше встают и едят меньше, и не так сладко, как недавно еще было у мамки, а боронят на пятерых лошадях, которые часто заступают в постромки и, как назло, путаются на заворотах. И чилизен он стал делать как будто больше, чем на домашней пашне. И тут еще Поликарп, который стоял на меже и чистил бороны на заворотах, постоянно грозился отстегать обротью, если будут чилизны...

Боронил Кирилка и все думал. Думал о том, что тятька после того, как умерла мамка, стал «нужным», а дядя Прокопий — богатый, и потому сердитее. Думал еще о том, что когда вырастет большой, то не будет боронить на пятерых, а только на Игреньке да на Карюхе. И когда станет сам тятькой, а у него будет боронить такой же маленький Кирилка, как он вот теперь, то даст ему теплую шубейку, чтоб не так продувал ветер. И рано тоже будить не будет, а в павжну даст поспать часок под телегой... А уж Чесноковский-то колок весь исходит и изъездит — чего бояться большому-то...

Раздумавшись снова о Чесноковском колке, Кирилка уехал далеко в сторону и сделал огромную чилизну.

— Я те, варначонок вислоухий! Я те, воронье пужало! Вот погоди ужо! — орал на меже Поликарп и сердито тыкал в землю суковатыми вилами.

В этот вечер, когда выпрягли лошадей, Кирилка в первый раз попробовал дядиной оброти... И когда укладывался с Поликарпом спать в пашенном шалаше, впервые почувствовал горечь собственных слез, которые надо проглатывать тайком, а не реветь открыто, как при мамке.

Утром Поликарп опять разбудил его рано — ни свет ни заря. Собрав оброти, он отбросил одну и сказал Кирилке:

— На, иди за Пеганком... Он имкой, не бойсь. Вон там, слышишь ботало-то?

Ботало редко и слабо позвякивало где-то как будто близко, но — там, у Чесноковского колка, дальше знакомых кустов. И Кирилка забоялся было, взял обротъ и не шел, но Поликарп, уже сердясь, крикнул:

— Ну! Чего стал, пужало!

Кирилка побрел в кусты и, оглядываясь, заметил, что Поликарп пошел совсем в другую сторону. Тоскливо стало Кирилке, и шел он едва передвигая ноги. Но боязнь перед Поликарпом была еще больше, воспоминание о вчерашней оброти — еще слишком свежо, и Кирилка, осторожно оглядывая каждый куст и часто останавливаясь, чтобы прислушаться к звяканью ботала, все же подвигался вперед.

Утро было ясное, безоблачное, и Кирилке казалось — скоро взойдет солнце. Но холод еще больше щипал щеки и руки, и сквозь дырявые сапожонки к онучам уже просачивалось мокро от травы. А тут еще березы пошли все высокие да густые — не видать неба!

Ботало, то звонко, то приглушенно, все позвякивало, и, казалось, вот-вот покажется Пеганка. И Кирилка робко позвал его:

— Пррсё, пррсё!

Но губы и от холода, и от страха едва шевелились, и Кирилка сам не услышал своего зова.

— Поликарп, Поликарп! — сквозь слезы, звонко закричал он. В ответ послышалось ржанье Пеганки, и Кирилка,

ободренный близостью его, побежал на голос.

Пеганка доверчиво подпустил Кирилку к себе и зачем-то прикоснулся к его спине толстыми жующими губами, когда тот склонился к путам. Путы, сильно намокшие, затвердели, и толстый узел не вывертывался из петли. Туго закрученные с вечера, когда были сухими, они теперь до того плотно облегали под щетками ноги лошади, что, казалось, врезались в мясо. И сколько Кирилка ни бился с ними, ломая ногти, узел не сдвигался с места и петля крепко держала его, точно в тисках. Кирилка заплакал, стоя перед Пеганкой на коленях. Старый мерин склонял к нему свою наполовину белую, наполовину рыжую морду и, словно ободряя Кирилку, осторожно обнюхивал его, шевелил толстыми морщинистыми губами и шумно дул из розоватых, с редкими волосами ноздрей.

Лес, огромный, не имевший для Кирилки краев, стоял кругом безучастно-молчаливо и скрывал от него самое небо. Слезы отчаяния, полной безнадежности, тяжкого, непоправимого горя грязными торочками текли по чумазому лицу Кирилки, и ему казалось, что теперь только Пеганка жалеет его: большие черные-черные глаза тоже как будто мокры и часто мигают...

Кирилка долго выл, звал Поликарпа, а потом снова принимался бессильно царапать узел пут. Грыз их зубами, тянул обеими ручонками за середину, и Пеганка слегка приподнимал одну ногу, будто хотел помочь ослабить узел. Но Кирилка ничего не мог поделать и, горько плача, уже всхлипывал, как взрослый. И все стоял перед Пеганкой на коленях — как бы молил его помочь беде.

Свет вверху, там где-то, высоко-высоко меж ветвей, стал ярче и там же, вверху, зашелестел ветерок. Словно теперь только увидели березы Кирилкино горе и тихонько перешептываются о нем: или удивляются невиданному, или советуются — как выручить Кирилку из беды.

Глянув вверх, Кирилка вспомнил, что отец, когда бывает в поле и когда нет божницы с иконами, становится лицом к той стороне, откуда всходит солнце, смотрит на небо и творит молитву. Кирилка также припомнил, что отец в молитвах часто поминает Миколу-святителя и все просит его помочь. И Кирилка, не вставая с колен, обернулся лицом в ту сторону, откуда пришел, поднял вверх застланные слезами, теперь поблекшие, словно выцветшие, синеватые глаза и торопливо залепетал:

— Батюшка Микола... Угодничек... Помоги, вызволь меня... грешного... Свечку поставлю, когда вырасту... Большую, в рупь... право, батюшка Микола!

— Помоги-и! — пискнул он, заканчивая молитву, и снова заплакал навзрыд.

Потом опять принялся за путы. Попрежнему они были твердые, туго намокшие. Из-за ногтей и из десен у Кирилки уже шла кровь, а он все ничего не мог поделать. И, как бы выплакав все слезы, молча безнадежно куксился, размазывая по лицу кровь.

Пеганка долго стоял с таким же безнадежным видом и терпеливо ждал. Но, видя, наконец, что освободиться от пут нет надежды, склонился к траве и, лениво пощипывая ее, сделал короткий скачок, чтобы передвинуться с места. Ботало гулко звякнуло, и Кирилка понял, где спасение.

Он подбежал к Пеганке и принялся отчаянно звонить боталом, чтобы услышал Поликарп.

Но когда Поликарп уже бежал лесом, окликая Кирилку, страх перед неизбежными побоями снова сжал сердце. И Кирилка уже не рад был, что Поликарп бежит на его зов. Уже хотел бы лучше остаться один на один с Пеганкой, таким добрым и смирным, или — убежать...

Подбежав ближе, Поликарп остановился и долго молча смотрел на Кирилкино лицо. Потом, все продолжая молчать, склонился к ногам Пеганки и твердыми пальцами, с широкими жесткими ногтями, в один прием вывернул из петли узел пут, и Пеганка свободно переступил ногами.

Затем Поликарп злобно ударил старого мерина путами по морде и, все еще продолжая молчать, повел его.

А Кирилке — ничего не сделал.

КИРИЛКИНА БЕДА

Отошло куда-то назад знойное, как солнечный сон, лето; осталась где-то позади, словно растаяла, студеная, с трескучими морозами и мглистыми буранами зима, и пришла новая, сверкнувшая другой, незнакомой еще улыбкой, весна.

Но и в эту весну у Кирилки было мало

радостного. Еще зимой в доме появилась мачеха, чужая, привезенная отцом из какого-то дальнего села, в котором живут, должно быть, только злые, ненавидящие друг друга люди...

Однажды Кирилка играл в палисаднике, когда его окликнула мачеха. От неожиданности и знакомого, всегда пугающего голоса он уронил сложенный им под кустом черемухи домик из палочек, вскочил, поддергивая синие холщовые штанишки, и боязливо-выжидательно уставился на раскрытое окно.

— Айда в избу, паршивец! Айда, тебе говорят! Ч-черт те надавал, углана паршивого! — кричала из окна мачеха и злобно трясла головой. На макушке у нее угрожающе качались торчком завязанные концы платка, рукава рубахи были засучены до локтей и запачканы в муке коричневые жилистые руки.

В палисаднике Кирилка чувствовал себя укрытым от всех невзгод и, заползая в самую гущу кустов, жил здесь по целым дням. Но зоркий, всегда сердитый взгляд серых глаз мачехи, опушенных шерстистыми белесыми бровями, нащупывал его и здесь, и резкий, с злым присвистом голос каждый раз заставал Кирилку врасплох и тоскливою болью сжимал сердце.

С минуту Кирилка стоял притаившись.

— Может, забудет! — подумал он, когда в окне не стало видно мачехиной головы, и, тихонько переступая босыми, потрескавшимися ногами, попятился в тень кустов.

Словно сожалея Кирилке и ободряя его, к нему тянулись, чуть-чуть покачиваясь, распускавшиеся в тяжелые гроздья цветов ветви черемухи, и ласково-трепетно поблескивала на солнце твердая чеканная листва тополей.

Но через минуту из окна снова высунулась голова мачехи, по подоконнику застучала облепленная тестом скалка, и Кирилка виновато поплелся из палисадника.

В надежде найти заступника, который укрыл бы его от мачехиного гнева, Кирилка зорко-выжидательно оглядывался по сторонам. Но на улице никого не было. Было позднее утро, и все уже разъехались по пашням.

У калитки Кирилка остановился, снова растерянно поддернул сползавшие штанишки и еще раз, плаксиво морща нос, огляделся кругом. Но везде было пусто и тихо. Даже собаки как будто попрятались куда-то. Заглянул в ограду — тихо и будто враждебно все. Старый обомшелый амбар выжидающе-сердито нахмурился и вот-вот забранится, как только Кирилка перешагнет ограду. А у низенькой, ушедшей в землю погребушки косая дверь злобно гримасничает и нависшая с крыши желтая осока будто шевелится— как есть мачехины брови...

Где-то на задворках голосисто, нараспев, заростилась курица, в соседской ограде кто-то звякнул у колодца бадьей, и Кирилка почувствовал, что он уже не один на один с мачехой и если заревет — его услышат. И торопливо, чтобы снова не наступила тишина, шмыгнул на крыльцо, стуча по ступенькам твердыми пятками.

Мачеха стояла в избе спиной к окнам, и лицо ее после яркого солнечного света Кирилке не было видно. Он видел только черные, резко обрисовавшиеся на свету концы платка, острыми углами торчавшие к потолку, и по тому, как они вздрагивали над круглой головой, догадывался, что мачеха сердится пуще прежнего. И не слышал, а чувствовал летевшие к порогу шипящие слова:

— Спрятаться хотел?! У-у, чертовы выгонки!.. Только того и глядишь, как бы отлытать... Погоди ужо! Я те вот!..

Стоя у порога, Кирилка закрыл глаза и уже заранее чувствовал на себе удар твердой скалки. Ждал ударов, как неизбежного и неотвратимого, и мысленно даже торопил мачеху, чтобы скорее пережить это неизбежное. Но мачеха необычно медлила и почему-то долго не била Кирилку.

Стукнув о стол скалкой, она ушла в горницу, и слышно было, как хлопнула там крышка сундука.

— Поди сюда! Поди, тебе говорят! — послышалось из горницы, и Кирилке показалось, что мачеха как будто уже меньше сердится. И еще больше удивился, когда она, сунув ему в руки красный платок, уже без ругани говорила:

— Вот... На вот... Поди, сбегай к Дарье Васильевне. Скажи, мать просила, мол, чаю фамильного закладки на две... Чуешь?! Чаю фамильного в платок она отсыплет тебе. Да смотри у меня, не просыпь! Смотри под ноги-то, верхогляд полоротый! Крепче держи платок-то. А ежели просыплешь, не показывайся и домой!

Дарья Васильевна была крестной Кирилки, и он знал дорогу к ее дому. Но на пути было много опасных мест: злые собаки дяди Трофима, всегда лежавшие у ворот и караулившие прохожих; топкая лужа в Маленочковом проулке, где тонули даже лошади и коровы; а в конце этого проулка стояла Аполитова кузница, из которой Аполитка пугал ребятишек раскаленным железным прутом. Все это заставляло Кирилку много думать, много бояться, и поручение мачехи, строгий наказ ее он уловил вскользь, вполуха.

И чтобы не забыть, зачем он послан, Кирилка, спускаясь с крыльца, повторял про себя шепотком:

— Чаю, платок. Чаю, платок... Платок, чаю!

Горячее солнце золотом облило льняные Кирилкины вихры, ласково брызнуло в лицо и тепло-любовно охватило всю его маленькую фигурку. И уже не было страха перед мачехиным гневом; забылись опасности на пути. Вприскочку бежал он меж огородов, поминутно откидывая со лба мешавшую смотреть льняную прядь спутанных волос, и глаза его уже радостно поблескивали ясною синью.

— Чаю, платок!.. Чаю, чаю!

Кирилка благополучно миновал Аполитову кузницу, в проулке мелькнули расписные решетчатые окна крестниного дома, и он уже посчитал было себя в безопасности. Но из-за огорода неожиданно вывернулся рыжий печник, всегда пьяный, еще более страшный для ребятишек, чем кузнец Аполитка. Он славился уменьем класть необыкновенно жаркие печи, и, должно быть, за это его прозвали — Жар. Весь он был какой-то огненный, со скатанной в длинные жгуты рыжей бородой, с лохматыми космами на непокрытой голове, корявый, с бугристым, что поджаренным лицом.

Увидев Кирилку, Жар остановился, округлил красные, слезящиеся глаза и свирепо зарычал:

— Ага! Вот я те в брюхе и сварю!

Кирилка был уверен, что Жар и в самом деле может варить ребятишек в брюхе, и страх жгучей волной прихлынул к груди и снова до боли сжал сердце. Он смотрел синими немигающими глазами на Жарово брюхо, плотно обтянутое лоснящейся пестрядинной рубахой, и не мог сдвинуться с места.

А Жар расставил ноги, наклонил голову, как будто собираясь боднуть Кирилку, и уже совсем страшным голосом рявкнул: — В брюхе сварю!

— Ы-ы-и! — взвизгнул Кирилка и, ничего не видя, понесся по проулку, едва касаясь земли.

В доме Дарьи Васильевны помещалась земская квартира, и во дворе у нее всегда было людно и шумно. Всегда ругались ямщики, кричали на лошадей, звенели дугами с колокольцами, выкатывали из-под навеса дребезжащие ходки. Но на этот раз, когда Кирилка вбежал во двор, там стояла какая-то настороженная тишина.

У крыльца смирно стояла тройка лошадей, запряженная в тарантас, и лишь изредка, словно украдкой, тихонько звякал колокольчик, когда задремавший коренник сонно вскидывал головой, переставляя ноги. К тарантасу прислонился ямщик Игнатка и держал в одной руке вожжи, а в другой шапку. Ближе к крыльцу, точно не решаясь — войти ли ему, или еще подождать, — остановился и растерянно мял в руках шапку староста Иван Степаныч; на груди у него поблескивала медная медалька.

Кирилка, запыхавшийся, все еще чувствовавший позади себя страшного Жара, окинул все это одним беглым взглядом и уже собирался было шмыгнуть на крыльцо, но староста Иван Степаныч схватил его сзади за рубаху и сердито, и вместе с тем как-то боязливо, зашептал:

— Куда это ты, постреленок?! Куда?!

— К хресне я... пусти-и!

В это время наверху хлопнула дверь, и староста выпустил Кирилкину рубаху. На крыльце показался не виданный Кирилкой человек. Все на нем так и блестело на солнце — плечи, грудь, и — на лбу звезда... Широко расставив ноги и опираясь руками о косяки двери, он загородил собой вход и что-то резко и громко закричал ямщику.

Очевидно, незнакомый человек ругался, на кого-то сердился. Но он нисколько не походил на Кирилкину мачеху и как будто даже не замечал его, и Кирилка тихонько, ступенька на ступеньку, взобрался на крыльцо. Постоял, рассматривая блестящие сапоги, потом легонько дотронулся до широких синих штанов незнакомого, пробуя протиснуться в сени. Но нога стояла твердо и не пропускала Кирилку.

— Дяденька, пусти... а?! Право, пусти! — тихонько попросил он. Но незнакомый продолжал ругаться и упорно не хотел замечать Кирилки. Тогда он нырнул между ног незнакомого, и в тот же момент почувствовал себя крепко сжатым с боков, а потом блестящие сапоги чем-то звякнули и Кирилку сзади толкнуло что-то острое.

И — ничего; даже не обернулся незнакомый.

Дверь из сеней в горницу была открыта, и Кирилка, чтобы скорее попасть к крестной, не стал подниматься на ноги и, стуча коленками, полз по полу, пока его не подхватила за руку Дарья Васильевна.

Приотворив дверь, она приглушенно зашептала, будто боясь разбудить кого-то:

— Да что ты, пострел те возьми, — что это ты наделал! Ведь ты барина чуть не столкнул, дикошарый!..

— Мама велела дать полон платок чаю! — заявил Кирилка.

— Чаю? Полон платок?!..

— Фамильного, — добавил Кирилка громко.

— Ш-ш-ш! Постерли-те совсем! — и Дарья Васильевна замахала на Кирилку руками, опасливо оглядываясь на дверь. И все что-то мешкала — как будто не хотела дать чаю.

Кирилка собирался уже было зареветь, но на ограде зазвенели колокольцы, и Дарья Васильевна перестала прислушиваться.

— Н-ну, слава богу, уехал! Чаю, говоришь? Полон платок? Да куда ей это столько? У меня у самой мало... — говорила Дарья Васильевна, но все же открыла сундук и достала красный бумажный фунтик.

— Вот половину дам. Скажи, пополамде разделила. Не просыпь, смотри. На!

— Хрёсна, а тамо-ка Жар! Боюсь я...

— Где Жар?

— Тамо-ка, в проулке. Сварить меня хочет... в брюхе, грит!

— Нету его теперь. Иди, не бойся. Он так это... Беги со Христом! Гляди, не развязался бы платок-то...

Жара в проулке уже не было, и Кирилка снова замелькал меж огородов, смело вскидывая льняными вихрами.

Привскакивая с ноги на ногу, он все думал о невиданном человеке, что стоял на крыльце.

— Ишь ты, сердитый, а не побил... как будто и не видит! Добрый, должно. Не то что Жар...

Среди этих мыслей мелькало еще что-то досадное, беспокойное, но что это такое — Кирилка не мог припомнить. Слишком уж много было сегодня впечатлений...

Да и кузница вон близко... Опять этот Аполитка...

Но Аполитка стучал молотом по наковальне, и ему было не до Кирилки.

А беспокойная мысль о чем-то забытом все возвращалась и мешала глядеть на воробьев, на синичек, что так забавно кивают хвостиками, перелетая с кома на ком...

И только подходя к своей ограде, Кирилка вспомнил, что мачеха велела ему попросить у крестной чаю закладки на две, а он нес почти полон платок...

Вспомнив это, Кирилка почувствовал, как что-то холодное подкатилось к затылку, потом толкнуло в сердце и снова сжало его тоскливою болью. Он как бы перед ударом закрыл глаза, и в памяти быстро замелькало знакомое. Мачеха в черной шешмуре, с ухватом в руках; у ворот отец с возами сена; разбежавшиеся по гумнам овцы... Она била тогда Кирилку до тех пор, пока рубашка на нем не превратилась в клочья... Но когда заметила отца, подъехавшего к воротам с возами сена, сорвала с него изорванную рубашку и надела новую.

И теперь, когда с ним случилась еще большая беда, чем разбежавшиеся овцы, Кирилка понял, что будет неминуемо и сильно избит. А отца не было дома...

Мелькнула мысль — отсыпать чаю в канаву, и принести мачехи закладки на две... Но как это сделать незаметно? Куда отсыпать, чтобы не нашли?.. И решил пробраться тихонько в палисадник и отсыпать лишний чай где-нибудь там.

В палисаднике Кирилка прислушался и, взобравшись на завалинку, осторожно заглянул в окно. В избе было тихо; только мухи жужжали над столом, все еще покрытым мукой и остатками теста.

— Нету! — решил Кирилка, вздохнул и стал копать ямку под черемухой.

Когда он развязывал уже платок, чтобы отсыпать чай, за пряслом послышались голоса. Кирилка притих.

— Полон, говорит, платок давай да и только! — узнал Кирилка голос крестной.

Мачеха что-то сказала и весело, раскатисто засмеялась.

— И где он, варначонок, шляется только! Не потерял бы на грех чай-то, — заворчала было мачеха, но ее перебила крестная.

— Нет, только подумать, матушка Настасья Ивановна! Прямо это заседателю-то промеж ног! Думала — беда. Злой он был, с утра все ругался. То неладно, другое неладно, а тут еще постреленок этот. Ну да пронес бог — уехал... Надо же так напрокудить!

И обе они снова раскатисто засмеялись.

Кирилка почувствовал, что беда миновала, и, просунув руку сквозь ветви черемухи, поставил платок с чаем напоказ.

— Вот он, чай-то! Вот, целый весь! — звонко закричал он, и синие глаза его радостно, с затаенной тревогой сверкнули на солнце.

И над головой его снова ласково-ободряюще качались ветви черемухи и, точно смеясь над Кирилкиными страхами, трепетала твердая, сверкающая на солнце листва тополей...

КИРИЛКИНА ЛЮБОВЬ

Кирилке шел уже тринадцатый год, когда он по весне окончил приходскую школу и на следующую зиму, в филипповки, получил свидетельство с золотым ободком. Он стал считать себя взрослым мужиком, без которого в хозяйстве не обойтись. Но на дворе нечего было делать; зима стояла студеная, вьюжливая, и мачеха, как назло, больно бередила Кирилкино самолюбие, заставляя сидеть в тепле и прясть на полатях грязную и липкую овечью шерсть, пахнущую чем-то кислым.

Это бабье дело было ненавистно Кирилке, оскорбляло его до слез, и он, краснея от стыда и злости, прятался на полатях в дальний угол, когда приходил кто-нибудь из соседей. Особенно боялся он уронить себя в глазах соседской Феонки, которая училась вместе с ним и, бойкая, с задорно раздувающимися ноздрями, всегда была склонна зло высмеять парня, попавшего в неловкое положение...

Но вскоре в судьбе Кирилки произошел крутой поворот, навсегда оторвавший его от ненавистной и стыдной для него прялки. Из дальней деревни, Белозерья, приехал дядя Егор, материн брат, и надолго увез Кирилку из села.

Кроме почетного положения в роли гостя, Кирилке улыбалось еще более почетное положение — в роли учителя: у дяди Егора подрос сынишка, и пора было учить его грамоте, а в Белозерье не было школы. Тут уж было не до обидной прялки. Словно сознавая свою неуместность, она как-то сама собой схоронилась в темном углу и лишь робко, виновато выглядывала с полатей нелепо торчавшим вверх замызганным копылком.

Предложение дяди Егора сразу подняло Кирилку в собственных глазах. Он старался медленнее выговаривать слова и озабоченно хмурил тонкие, едва намечавшиеся брови, мерно, не торопясь, шагал по горнице; деланно-рассеянным движением откидывал со лба вихрастые пряди волос, отливавшие отблеском горного льна.

В новой черненой шадринской шубке, опушенной по борту котиком, с гарусной вышивкой на груди, подпоясанный ярко-зеленой гарусной же опояской, в пушистой выхухолевой шапке, — Кирилка выглядел празднично и чувствовал себя не то женихом, не то рекрутом, которого родные провожают на чужую сторону, на тяжелую цареву службу... И к горделивому чувству, к пьянящему сознанию своей возмужалости примешивалось сладостно-грустное, до сих пор незнакомое ощущение разлуки. Он избегал смотреть в глаза Марьи, старшей сестры, заменившей ему мать, и, отталкивая узелки с гостинцами, деловито укладывал в сумку школьные книжки — это было самое важное и необходимое. К тому же нужно быть твердым, серьезным, чтобы не показаться смешным или неспособным выполнить то важное, что ожидали от него.

Но как ни крепился Кирилка, как ни старался предотвратить опасные моменты, без огорчения все-таки не обошлось.

На беду забежала с каким-то выдуманным заделье Феонка, и как раз в ту минуту, когда Кирилку, поверх щегольской шубки, кутали на дорогу в длиннополый, неуклюжий отцовский тулуп. Она обидно прыснула в ладонь и, щелкая на белых зубах жваком, пристыдила Кирилку:

— Ну и суслон! Чисто ты суслон теперь, Кирилко! А ишшо учитель... Ха!

Кирилка, швыркнув носом, строго стрельнул в Феонку косым взглядом за-

тененных воротником глаз, блеснувших темною синью.

Кирилка стал взрослым — он уезжал учительствовать...

* * *

Уже прошли азбуку, и восьмилетний Степка, двоюродный брат своего учителя, звонко выкрикивал склады.

Кирилка стал важным человеком в доме дяди: с ним разговаривали, как со взрослым, о серьезном, о хозяйственном, о приближающихся святках.

Все было ново для Кирилки — и его важное положение, и Белозерье, большая лесная деревня, полукругом облегающая огромное озеро, сверкающее под солнцем снеговыми суметами, и самые люди, не похожие на Кирилкиных родичей. Как будто он никогда не был маленьким и они всегда знали его таким — взрослым, учителем... И соседские девчонки не скалили на него зубы, как Феонка, а сами, застенчивые, несмелые, точно стыдились его.

Кирилке самому стало казаться странным его несмелое поведение с Феонкой, такой незначительной, ничего не понимающей в жизни взрослых, ветреной и даже глуповатой на теперешний взгляд. Кирилка был уверен, что срежет ее теперь одним словом, одной своей осанкой взрослого. Это так просто и легко, и даже обидно становится, что он раньше почему-то не догадался об этом.

По вечерам все чаще говорили о святках, об игрищах, шиликунах, и тетка уже готовила творог для сырчиков к рождеству.

Дядя Егор, довольный учебой Степки, говорил:

— Пора и отдохнуть. Грамота — она что камень глодать — достается тоже... Погуляете вот ужо на святках. Гляди, и высмотришь на игрище-то себе невесту. Все равно не отпустим тебя так из Белозерья...

Кирилка снисходительно, в тон дяде, улыбался слегка и, отгоняя несерьезное, допустимое лишь в шутку, озабоченно откидывал спускавшуюся на лоб золотисто-льняную прядь, отбирал у Степки грифель и старательно исправлял ошибки ученика.

— Хлеб, хлев... эти слова всегда пишутся через ять, а ты что написал? Опять забыл?! Надо внимательно. Вот так...

Скрипел, взвизгивая, грифель, а над черной дощечкой близко склонялись две пытливые детские головки, вихрастые, облитые светом висячей лампы с жестяным кругом. Шуршали в щелях тараканы, любопытно высовывая вздрагивающие усики. Мягко шелестели измятые страницы учебника. Звенел детский, по складам читающий голосок. Порой глухо-отрывисто ударял в угол горницы клящий мороз, рвавший под тонким, обтоптанным снегом землю.

Тихо, усыпляюще журчало веретено тетки. Всплывали слова дяди, вскользь оброненные, о высматривании невест, и Кирилке, меж Степкиными каракулями, расплывчато колеблясь, уже мерещился нежно-белый овал Анюткиного личика, как льняными семечками, усеянного мелкими веснушками. А порой, когда Кирилка надолго раздумывался об Анютке, голос Степки звенел Анюткиным застенчивым смехом, и он сам улыбался ответно.

Анютка часто забегала к дяде Егору и, стоя у притолоки, украдкой косила в сторону «учителя» широко расставленные, с удлиненным разрезом глаза, поблескивавшие такой же лучистой синью, как у самого Кирилки. Кирилка ловил этот взгляд, и сердце, переполненное гордостью, начинало быстрее стучать и отчего-то сладостно-больно сжиматься.

Высокая не по летам, но тоненькая, с худенькими покатыми плечами, Анютка казалась Кирилке краше всех на свете, и самая худоба ее, ее застенчивость и робость как будто просили приголубить ее сильной рукой, защитить от чего-то...

Одно только злило и глубоко оскорбляло Кирилку — это прозвище Анюткиного отца — Галаня...

— Галанина Анютка! Эх, ты, Галаня! — обидно скаля зубы, дразнили ее ребятишки.

Кирилка не понимал этого слова, но оно до обидной жалости роняло Анютку, как будто пачкало чем-то ее чистое личико, и чувство возмущения выдавливало слезы на синих Кирилкиных глазах.

Засыпая с этими тихими, скрытыми от всех слезами, Кирилка твердо решил, когда станет совсем большим, жестоко отомстить зубоскалам и увезти Анютку, когда они будут женихом и невестой, далеко-далеко от Белозерья, чтобы обидное прозвище отстало, забылось навсегда.

* * *

Чинно, в разговении прошел первый рождественский день, неожиданно показавшийся длинным и скучным. Все получалось как-то не так, как ожидалось...

Но на другой день просторная, устланная новыми половиками горница дяди Егора уже с утра наполнилась звонким гамом детских голосов, и в ней стало празднично светло, не по-вчерашнему, когда под темной божницей долго струился кадильный дым, семья перед разговением долго молилась и в чуткой, по благочестивому настороженной тишине нельзя было смеяться. Сегодня и солнце как будто ярче золотило морозное кружево на окнах, ласково искристо усмехаясь, и самый воздух напоен был чем-то пьянящим.

Сегодня в горнице дяди Егора собиралось малое игрище, созванное в честь Кирилки, почетного гостя...

Звучно расщелкивая орехи и грызя мерзлые сырчики, подростки степенно рассаживались по широким, свежевыскобленным сосновым лавкам, хрустели новым ситцем рубашек и ждали «начала», которое должна была положить хозяйка игрища, Степанкова сестра Катя. Она должна была выбрать подругу и, взявшись с ней за руки, ходить по горнице и петь про «удала добра молодца», пленившего девичье сердце. Песня заканчивалась припевом о поцелуе «во сахарные уста», и пары, установившись у притолоки, должны были исполнять это веление.

Катя положила начало, и в горнице зазвенело переливчато:

Уж я золотце хороню, хороню!
Чисто серебро в терему, в терему.

И когда пары, быстро переступая, как бы стараясь перегнать темп песни, уже мелькали взад и вперед, Анютка застенчиво проскользнула в дверь и замешалась в цветнике праздничных сарафанов.

У Кирилки остановилось сердце: он еще никогда не представлял ее себе такой красивой, будто овеянной чем-то недоступным, слишком ярким. На узенькой груди ее, спускаясь с прозрачно-белой шейки на вышитую рубашку, искристыми блестками сверкал двойной ряд бисера, и Кирилке становилось завидно, что бисер этот так близко, бережно-любовно приникает к Анютке. И в ту же минуту он боязливо подумал еще: ведь этот слепящий блеск, который исходит от Анютки, вдруг заметят и другие, и тогда, может быть, синие глаза ее уже не станут косить только в его, Кирилкину, сторону...

Анютку вывели «по горнице ходить», и была ее очередь выбирать «удала добра молодца». Кирилка замер и уже не деланно-рассеянно, а незаметно для себя откидывал с вспотевшего лба золотистольняную вихрастую прядь.

И когда Анютка подошла к нему и, не глядя, протянула руку, Кирилка вдруг постыдно оробел и, краснея до острого жжения в верхушках ушей, растерянно перебирал кисти голубого праздничного пояса.

Но не менее Кирилки оробела и Анютка, пристыженная долгим стояньем перед удалым добрым молодцем, она теребила нитку бисера, и когда Кирилка, злясь на себя, порывисто схватил ее руку и неловко повернул к двери, где надо было целоваться, — бисер дробно рассыпался по половикам и произошло что-то до того стыдное, что в Кирилкиных глазах помутнело и кругом пошла горница.

Зазвенел смех, и послышалось до боли обидное:

— Ах, ты-ы! Галаня-а-а! И тут просыпалась...

— Галаня, Галаня... Галаненок рябой! — галдели сзади ребятишки.

Но Кирилка видел только бледное, ставшее несчастным личико Анютки и беспомощно полураскрытые губки, алевшие расплывчатым колеблющимся пятном. Он обвил тонкую Анюткину шею и, притиснув русую головку к притолоке, прижался своими пересохшими губами к мягко подавшемуся алому рту и давил до тех пор, пока не почувствовал освежающий холодок чистых Анюткиных зубов.

И когда оторвался, почувствовал себя уже совсем взрослым, не боящимся никаких насмешек, что давеча конфузили его чуть не до слез, почувствовал, что Анютке тоже нечего теперь конфузиться и робеть и она вовсе не такая уж жалкая, чтобы теряться только оттого, что у нее рассыпался бисер.

У Кирилки словно росли за плечами крылья, и, краснея уже до новых бодрящих чувств, он молодецки пристукнул

подковкой щегольского сапога со скрипом, повернувшись от притолоки.

Игрище разгоралось, и досадный случай с Анюткиным бисером скоро забылся. Кирилка уже не чувствовал неловкости и свободно ходил по горнице, крепко, по-молодецки сжимая Анюткину ручонку.

Он уже видел себя женихом Анютки, и в святочных песнях слышал торжественные церковные напевы венчальные...

Анютка покорно-доверчиво приникала к Кирилке, когда он, следуя велению песни, становил ее у притолоки, чтобы выполнить поцелуйный обряд. Углом глаза он видел, как темнеют, поблескивая синью, Анюткины широко расставленные глаза, и твердо был уверен, что Анютка теперь ни на кого уже не променяет его, ни на кого уже не взглянет таким лучисто-синим взглядом, за который можно отдать полжизни.

Но вечером, когда в горницу уже вливался ранний зимний сумрак, Кирилка все же спросил тихонько Анютку, заранее зная ее ответ:

— Люб я тебе или нет? Анюта?

— Ши-ибко, Кирюша! — шепнула Анютка и облила его искрящимся взглядом, лучисто блеснувшим уже не по-детски.

И с каждым часом рос Кирилка, и казалось ему, не было на свете человека счастливее его.

* * *

Хмельными днями, как во сне, промелькнули святки, и как-то совсем неожиданно наступили послекрещенские будни.

Снова заскрипел грифель, зашелестели страницы учебников. Но уже в тягость была книжная учеба. Солнечные блики на гладкой клеенке стола больно резали глаз, и в жарко натопленной горнице, пахнущей мятой, зевалось истомно; разливалась по телу предвесенняя лень, и книжка становилась все более чуждой.

И так же неожиданно, как неожиданно наступили серые будни, кончилось Кирюшкино счастье.

Возвращаясь из города, Кирюшкин отец заехал в Белозерье и просто сказал:

— Погостил, да и будет! Пора и честь знать. От дома-то отбиваться тоже не след. Да и писарь вон наш наведывался: почерк, говорит, у твоего сына-то хорош, не отдашь ли привыкать в волость, пока что. В писари, значит.

Ясны и понятны были отцовские слова, но Кирюшка долго не мог определить — что в них такого страшного и отчего эти простые слова жгучей тоской сжали вдруг заколотившееся сердце?..

Но Кирюшка был большой, и пуще всего боялся потерять мужество и показать это постороннему взгляду.

И, сердито сопя, он деланно-заботливо укладывал свои книжки, ставшие почти ненавистными.

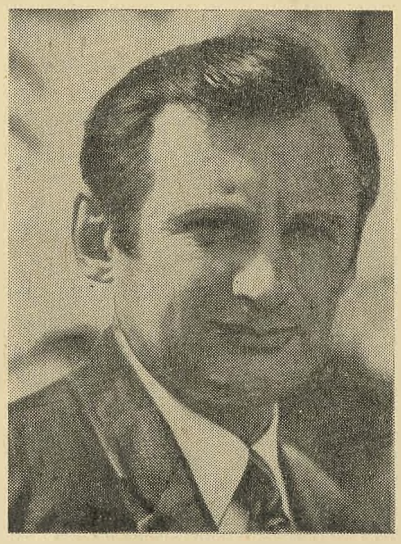
В полдень, когда яркое солнце алмазными искрами сверкало на блестяще-белом снегу, Кирюшка уехал из Белозерья, окруженного застывшими под тяжелым слоем куржака лесами.

Впереди стлалась однообразная, казавшаяся бескрайною, снежная равнина, задернутая на горизонте белесой морозной мглой...

«Первое горе» печатается по автографу, вероятно 1919—1920 гг.; «Кирилкина беда» — по тексту, опубликованному в газете «Жизнь Алтая», 1916, 10/IV. с правкой автора; «Кирилкина любовь» — по тексту в газете культурно-просветительного союза Алтайского края за 1919 г. (название газеты пока установить не удалось).

Электронная библиотека Руниверсалис.ru

САТИРА И ЮМОР



Осипов Геннадий Ильич родился в 1929 году в городе Бийске. Окончил Уральский государственный университет.
Профессиональный журналист. В газетах начал печататься с 1949 года. Сейчас работает ответственным секретарем «Алтайской правды». В альманахе «Алтай» выступал с очерком.

Геннадий ОСИПОВ

КАК Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

Утреннее небо голубое. Облака... Впрочем, ни облачка, ни тучки. Но известно, что гром не обязательно из тучи... В это утро, громыхая пустыми ведрами и попреками мужу-лежебоке, жена нарушила мой сладкий сон:

— Марш за водой!

— А у нас для этой самой шту-у-ки есть наш городской водопровод, — еще благодушествуя, промурлыкал я и потянулся к телефону.

— Алло. Трест «Водосвет»? У нас на четвертом этаже воды нет, — почти в рифму заявил я.

— Ждите, будет, — ответили мне.

Потом мы перезванивались еще несколько раз. Трубка сыпала бодрыми заверениями, а жена — всякими нелестными эпитетами в ее адрес и язвила, что пора впредь именовать трест «Водосвет» трестом «Водынет». Короче говоря, мне пришлось спускаться с четвертого на первый этаж.

Вы никогда не пробовали совершать кросс по пересеченной местности с двумя полными ведрами? И если еще местность пересечена в вертикальном направлении под углом примерно в 45 градусов? Поверьте, ощущаешь некое порядочное неудобство, будто гонишь на высокогорное пастбище упрямого бегемота

С первой парой ведер я ввалился в квартиру, отдуваясь, как маневровый паровоз, который по ошибке поставили тянуть тяжеловесный состав. Вторую я не донес. Жена безжалостно обозвала меня недоноском.

На второй день я поступил умнее. С вечера открыл все краны и почти не спал, прислушиваясь: не зазвенит ли спасительная струя. Дабы сон не завладел мною, стал припоминать из физики все, касающееся моего вчерашнего трудового подвига. Сначала подыскал ему соответствующую терминологию. Естественно, что это была работа, то есть одна из важнейших физических величин, количественно характеризующая преобразование какой-либо одной формы энергии (очевидно — моей мускульной) в другую. Какую только? Иметь ли в виду энергичные нападки моей жены? Или что-нибудь иное? Так и не разрешив этот вопрос, приступил к вычислениям, во что вылилась моя работа. Формулу забыл. Пришлось разбудить жену.

Помянув всуе мою золотую медаль за среднюю школу, жена зло буркнула, что работа моя вылита в детскую ванночку. Отдав должное ее остроумию, я все-таки в интересах дела затребовал формулу, был адресован к черту и лишь по проявлении

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

настойчивости — к Большой Советской Энциклопедии.

И верно. 35-й том раскрыл передо мной полную картину. Я заново узнал, что работа силы (а сила — это я!), действующей на материальную точку (стало быть, на ведра), измеряется произведением проекции силы на пройденный путь. Набиралось порядочное количество килограммометров. Нет, не такой уж я недоносок.

И когда, бесплодно переговорив на сей раз уже с директором «Водосвета» тов. Лаповым, я снова устремился на первый этаж, то был переполнен уверенностью в своих силах, как кружка пива пеной. Но пена оседает... Со второй парой ведер пришлось осесть и мне — прямо на грязную ступеньку, расплескав воду. Жена потребовала долива...

Через неделю мы с тов. Лаповым переговаривались словно старые знакомые. Доброй души человек, он без всякого материального вознаграждения провел со мной полный курс техминимума по водопроводному делу. Я уже знал, что сегодня забастовали глубоководные вертикальные центробежные и штанговые насосы. Тут были бы хороши газлифты, но... На следующий день были непорядки в магистральной линии, а также в разводящей сети. Затем подвели стояки (стояки бывают... впрочем, нет, так не пойдет, не желаю разбазаривать знания). Курс техминимума значительно облегчил мою участь. Таская воду, я теперь ясно представлял себе, какие могучие и умные машины заменяю собой.

...Восьмое марта мы праздновали у себя. Я просил гостей нажимать на сухое вино, а не на чай. Они понимающе кивали.

Утром, конечно, проспал. А до начала рабочего дня оставалось сорок минут. Стремительно скатившись вниз, я подхватил ведра и бегом ринулся домой. Уже спускаясь обратно, вдруг ощутил, что, несмотря на вчерашние возлияния и прыжки через ступеньки, даже не сбил дыхания. Воистину во всем важна закалка, тренировка.

Своей радостью я поделился с тов. Лаповым. Бескорыстный человек, он порадовался вместе со мной:

— Что я вам говорил? Благодарить будете!

Я благодарил.

Жена успела рассказать о моих успехах на работе. Вечером меня поймал Саша Долгов, наш общественный тренер-штангист, и решительно увлек в спортзал. Там уже лежала наготове штанга.

— А ну-ка, подыми!

Собравшиеся в зале уставились на меня с таким интересом, словно я был родственником центрального нападающего команды класса «А». Штангу я поднял.

— Силен, брат, силен, но техники — никакой. Ничего, отшлифуем, — резюмировал Саша и начал меня тренировать. Тов. Лапов всемерно помогал ему. В виде домашнего задания я ежедневно бегом приносил воду на целую ванну.

И вот, наконец, подошли областные соревнования с участием сильнейших тяжелоатлетов соседних республик.

Публика уже начинала расходиться, словно была на премьере нашего областного театра, когда меня вызвали на помост. Судья равнодушно сообщил:

— Георгий Иванов. «Спартак». Полусредний вес. Вне конкурса.

Я страшно волновался и в первом движении — рывке — показал действительно полусредний результат. Судьи откровенно зевали. Я готовился к следующему движению — толчку. И вдруг из полупустого зала донесся отчаянный вопль:

— Гоша, не осрами контору «Водосвет»!

Милый Лапов, как он меня поддержал в эту минуту. Штанга взлетела вверх. В полуприкрытом левом глазу главного судьи мелькнуло любопытство. Зал загудел. А на штанге было уже 200 килограммов.

— Вес взят! — от удивления как-то по-птичьи пискнул судья, а ко мне, сметая барьеры и условности, неслись зрители. Первым был Саша.

— Ты же рекордсмен страны! Дорогой! — от избытка чувств он захлебнулся.

На меня насели корреспонденты, просили раскрыть секреты тренировки.

— Вот он, мой первый тренер, — указал я на товарища Лапова.

Наутро все газеты вышли с моими портретами 9 на 12 и интервью, в котором упоминалась и фамилия Лапова. На следующий день пришло известие об официальном утверждении моего рекорда. Решил сразу поделиться этим с Лаповым.

— А его нет, — ответила секретарша. — Горисполком вчера снял его с работы. Сказали, что о воде надо заботиться, а не о спорте.

— Безобразие, — возмутился я. Но из кухни позвала жена:

— Милый, поспеши за водой.

Я привычно подхватил свои спортивные снаряды...

Репродукция картины **Н. Рериха** «Ойрот. Алтай».

На обложке: линогравюра **Б. Лупачева** «Вход на ВДНХ».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Н. Рерих. «Этюд».

Электронная библиотека АГУНБ. elib.altlib.ru

40 коп.